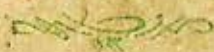


1022

БВГ ЗАМѢТКИ



НА КУДИЧКАХ



23.734

08314



08314

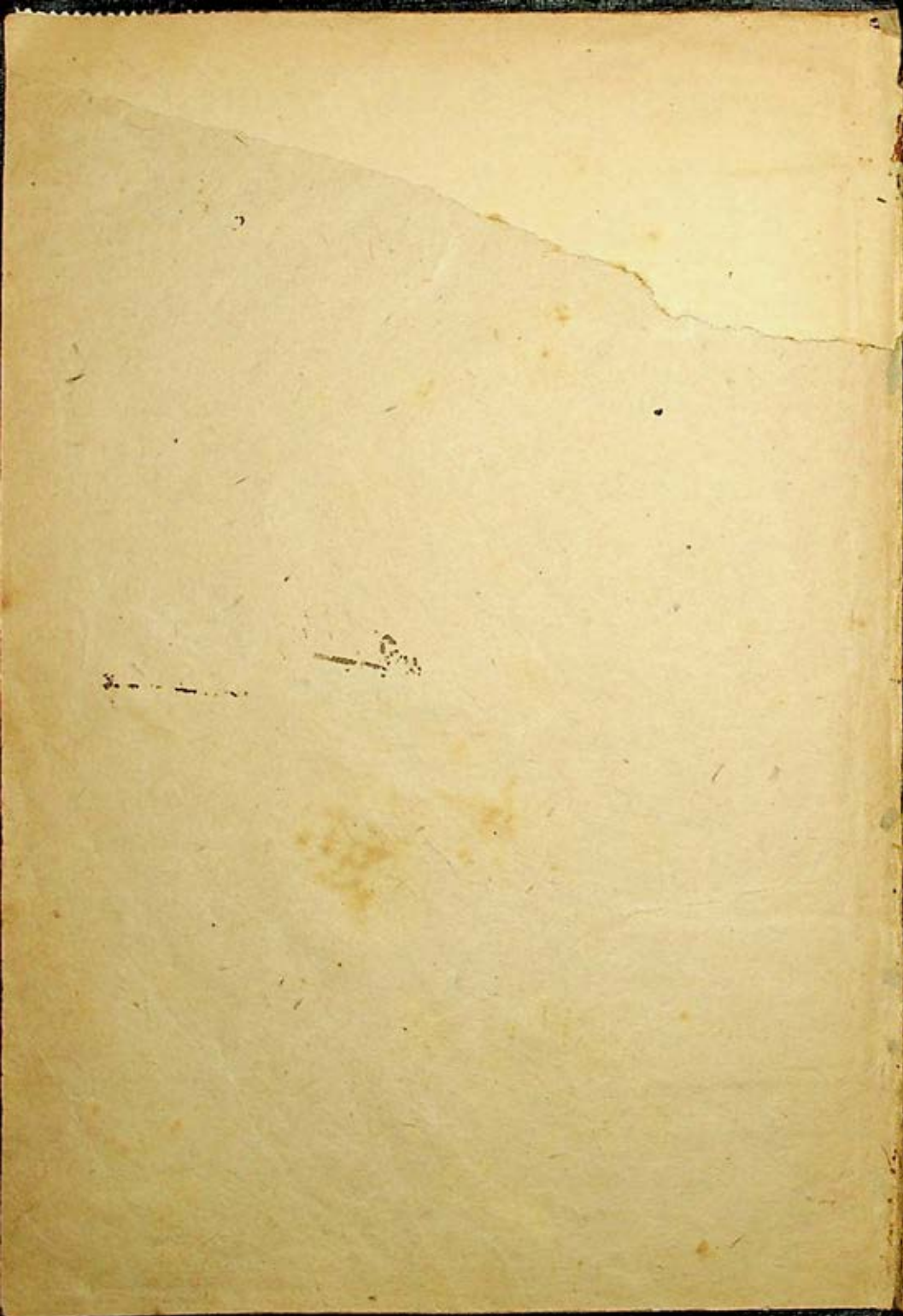
506

~~1022~~

Основа №

Сигнал по номеру, гербу

при № дв.



882 - 32

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН



НА КУЛИЧКАХ

82

РАССКАЗЫ

Л 314

506

I

Основн. №

Сплата по нормам тарифу

При польованіи дн.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

З. И. Г Р Ж Е Б И Н А

1923

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten

Copyright 1923 by Z. J. Grschebin Verlag, Berlin



5PK 13

Набор типографии Г. Гольдберга

Печатано у Гемпеля и Ко., общ. огр. ота, Берлин.

506
I

НА КУЛИЧКАХ

1. БОЖИЙ ЗЕВОК

Есть у человека такое, в чем он — весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. И такое у Андрея Ивановича — лоб: ширь и размах степеней. А рядом — нос — русская курицефеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало — и кой-как, тяп-ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иваныч Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иванович — в академию готовиться. — Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг накунил. Просидел над книгами все лето — и случилось в августе на Гофманский концерт понасть. Господи Боже мой: сила какая. Куда уж там академией заниматься: ясное дело — быть Андрею Иванычу Гофманом. Не даром же все в полку говорили: так Андрей Иваныч играет Шопеновский похоронный марш — без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу, засел Андрей Иваныч за рояль: весной в консерваторию поедет.

А учительница — светловолосая, и какие-то у ней особенные духи. Вышло: вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иваныч всю зиму. И пошла консерватория прахом.

Что же, так теперь и прокисать Андрею Иванычу субалтерно мв Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иваныч не сдастся. Главное все сначала началь, все старое — к чорту, закатиться куда-нибудь на край света. И

тогда — любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать — и одолеть весь мир. . .

Так вот и попал Андрей Иванович служить на край света к чертям на кулички. Лежит теперь на диване — и чертыхается. Да как же, ей-Богу: третий день приехал — и третий день от тумана не продохнуть. Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема-муть — в голове притчится какая-то несуразная нелюдь — и заснуть страшно: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человеческого голоса захотелось — навожденье свалить. Кликнул Андрей Иванович денщика.

— Эй, Непротошинов, на минутку.

Как угорелый, влетел денщик и влип в притолоку.

— Скушно у вас, Непротошинов: туман-то, а?

— Н-не могу знать, ваше-бродие. . .

— «Фу ты, Господи: какие глаза рыбы. Но можно же его чем-нибудь»... — Ну что Непротошинов, через год домой, а?

— Так тошно, ваше-бродие.

— Жена-то есть у тебя?

— Так тошно, ваше-бродие.

— Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?

Что-то тускло мигнуло в Непротошинове.

— Как она, жена есть конкурент моей жизни. . . то я — и потух, спохватился, вытянулся Непротошинов еще больше.

— Да что: разлюбил что ли? Ну?

— Н-не могу знать, ваше-бродие. . .

— «О, ч-чорт. . . Ведь вот: был, наверно, в деревне—первый гармонист, а теперь — рыбы глаза. Нет, надо будет от него отвязаться». . . — Ладно. Иди к себе, Непротошинов!

Отвалился Андрей Иванович к подушке. В окно полз туман — лохматый, ватный: ну просто не продыхнуть.

Перемогся — и хоть с храпом — а продыхнул Андрей Иванович, и сам же услышал свой храп: заснул.

— «Батюшки, что ж это я — среди бела дня сплю». . .

Но запутал туман паутиной — и уж не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

2. КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАФАЭЛЬ

— Их превосходительства господина коменданта нету дома.

— Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик Половец, Половец, Андрей Иванович.

— Половец?

У денщика генеральского — не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, — а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

— Половец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Половец — ну как же: — дома, пожалте. Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иванович нагнулся, вошел. «Да нет... да может, не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, луком жареным пахнет...

— Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ышу!

Андрей Иванович шагнул поближе:

— Честь имею явиться вашему превосходительству...

Да черт-те возьми: да уж он ли это, генерал-ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-позисками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разлзатый, растопыренный, лягва огромная, — может, под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

— Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело... Офицеров у меня мало. Запивох — это сколько угодно, — буркнул генерал.

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупчатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Ивановичу, уставил-

ся, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:

— Ну что за нелегкая сюда занесла? Майи-Ридов начитался, а? Сидел-бы себе, голубеночек, в России, у мамыши под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись потом с вами...

Андрей Иванович оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал.

— Я, ваше превосходительство... Я в Тамбове... А тут, думаю, море... Китайцы тут...

— Ту-ут... Едут сюда, думают тут...

Но не кончил генерал: зашипило что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью.

Тут только оглядел Андрей Иванович поваренка — китайца в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.

— Р-раз, — и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.

А он — ничего: обтер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по заячьи.

Отдувался генерал, плескалось под фартухом его пузо.

— Уф-ф... Замучили в лоск! Не умеют, ни бельмеса не смыслят: только отвернись — такого настряпают... А я смерть не люблю, когда обед так вот, шата-вала, без настрояния варганят. Пицца, касатик, дар Божий... Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, что-бы... Или как бишь?

Андрей Иванович молча во все глаза глядел. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирав тонкие ломтики картофеля.

— Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковороду и зажарил, как понало? Вот... А которому человеку от Бога талант дан, тот понимает, что в масле ни в ко-ем случае... Да в масле? Да избави тебя Бог... Во фритюре — обязательно, непременно, запомни, запиши, брат — во фритюре, раз навсегда.

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля, Андрей Иванович посмелел и спросил:

— А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, произошло генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу — водяной со дна из бучила:

— Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация! А покропи, а сухо-на сухо вытри, а поджарь во фритюре... Картофель à la lyonnaise — слышал? Ну, куда-а вам... Сокровище, перл, Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да...

— Картошка, Рафаэль, что за чушь... Шутит он?—поглядел Андрей Иванович.

Нет, не шутит. И даже — видать еще вот и сейчас — под пелом лица мигает и тухнет человежье, далекое.

...«Пусть картофельный, — хоть картофельный Рафаэль». Андрей Иванович поклонился генералу, генерал крикнул:

— Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания...

Бывают в лесу поляны — порубки: остались никчемушине три дерева, и от них только хуже, еще пустее. Так, вот, и зал генеральский: редкие стулья, как бельмо — на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, — приткнулась генеральша посеред зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечёса. Нечёсу Андрей Иванович уже знал: запомнил всклокоченную его бороду в крошках. Поклонился генеральше, поцеловал Андрей Иванович протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую, и сказала поручику, одиотопно, глядя мимо:

— Садитесь, я вас - давно - не видала.

— ...«То есть как — давно не видала?» И сразу сбила с панталыку Андрея Ивановича, выскочила из головы у него вся приготовленная речь.

Капитан Нечёса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:

— Так вот-с, дозвоьте вас просить — в крестные-то, уж уважьте...

Генеральша отпила, глаза были далеко — не слыжала. Сказала — ни к селу, ни к городу — о чем-то своем:

— У поручика Молóчки пошли бородавки на руках. Кабы еще на руках, а то по всему по телу. . . Ужасно неприятно — бородавки.

Как сказала она «бородавки» — так за спиной у Андрея Иваныча что-то шмыгнуло, фыркнуло. Оглянулся он — и увидал позади, в дверной щели, чей-то глаз и веснучатый нос.

Капитан Нечёса повторил умильно:

— ...Уважьте — в крестные-то.

Должно быть, теперь услыжала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто — и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Иванычу обернувшись. . .

— Девятым разрешилась капитанша Нечёса, — девятым. Пойдемте со мной в крестные отцы?

Капитан Нечёса закомкал свою бороду:

— Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно...

Но генеральша уж опять не слыжала, опять — мимо, глядела, прихлебывала из стаканчика...

Андрей Иваныч и капитан Нечёса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

— Отчего она какая-то такая... странная, что ли? — спросил Андрей Иваныч.

— Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут двадцать лет, как пять пальцев вот... Ну, вышла такая история — да лет семь уж, давно, — младенец у ней родился — первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда — да так вот задуманной и осталась. А как

опомнится — такое иной раз, ей-Богу, ляпнет. . . Да вот—
Молочко, бородавки-то: и смех ведь, и грех...

— Ничего не понимаю.

— Поживете — поймете.

3. ПЕТЯШКУ КРЕСТЯТ

— Ну, ладно. . . Ну, родила капитанша Нечёса девятого. Ну—крестины,—как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров — только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой-то там пост, никому не нужный, наставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в бессонной пустоте, всякий шорох мышинный, всякий сучек палый — растут, настораживают, полнят всего, — там и тут: встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится вероятным.

Оно положим, с девятым младенцем капитанши Нечёсы не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка раскуси? Капитанша рождает каждый год. И один малюкан — вылитый Иваненко, другой две капли воды — адъютант, третий — живой поручик Молочко, как есть — его розовая, телячья мордашка. . . А чей, вот, девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень просто — почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощенье стробовали, — хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

— Господа, да постойте же, — подпрыгнул Молочко, как козлик, как теленочек веселый, молочком с пальца поеный, — господа, да ведь — Тихмень же жилец-то ихний. . . Да неужто ж капитанша его не приспособила? Не может того быть. . . А коли так, то. . .

— Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!

Так на Тихмене и порешили: может, и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, за тем, что Тихмень неизменно серьезен, длиннонос и читает, чорт его возьми, Шопенгауэра, там, или Канта какого-то.

И, чтобы Тихменя захватить врасплох, чтобы не сбежал только лишь за полчаса до крестин этих самых, послали Молочко предупредить капитаншу о нашествии шоплеменных. По-тутошнему называлось это: «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая, круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу, кругленькие — все капитаншины атуры. Только, вот, сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке цузыречек какой-то от капитановых шагов, когда вошел поручик Молочко и сказал: здравствуй, чмокнул капитаншу в то же самое место на щеке, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений: положительно, — это неприличное что-то. Серdito закатила круглые глазки:

— Чего целоваться лезешь, Молочиншко? Не видишь, — я больна?

— Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая. . .

Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюшке под'ехать, чтобы приглашаться не сразу?»

— А знаешь, — подпрыгнул Молочко, — был я у Шмитов, целуются все — можешь себе представить? Третий год женаты — и до сих пор. . . Не понимаю. . .

Капитанша Нечёса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись.

— Уж эта мне Марусечка Шмитова, уж такая принцесса на горошине, фу-ты, ну-ты. . . Знаться ни с кем не ждеет. Вот, дай-ко-сь, Бог-то ее за гордость накажет. . .

Переполюскали, перемыли Марусины косточки — и не о чем больше. Видно, делать нечего — надо начинать. Прокашлялся Молочко.

— Видишь ли, Катюша... Н-да... Ну, одним словом, мы все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить Тихменя... Я придумал, можешь себе представить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под сдеялом пожками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно...

— Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя — в отцы, а? Тихменя нашего длинноносого! Так его и надо, а то больно зачитался...

И вот — крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то вверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал по требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у него в пуху.

Неотрывно глядел на пушилки эти крестный, поручик Тихмень. Длинный, тощий, весь непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом:

— Вот, ей-Богу, ввязался я... Закричит это на руках, ну что я буду делать?

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почуял поручик Тихмень, что руки у него намокли, и из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки генеральше и попытался назад. Бог его знает, куда бы запятился, если бы стоявшая сзади компания с Молочко во главе не водворила его на место.

Пришло время уж и в купель окунать младенца. Заспанный поп обернулся к генеральше ребенка взять. А она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет, и кричит:

— Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!

Поп оборотом пытался к двери. Батюшки мои, что же это! Суматошились, шептали. Кабы не Молочко, так и не докрестили бы, может. Молочко подошел к генеральше, взял ее за руку, как свой, и шепнул:

— Отпустите, зачем вам этот, у вас будет свой, можете

себе представить? Раз я говорю. . . Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, слава те, Господи. С грехом пополам докрестили и Петяшкой нарекли.

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихменю. Одним разом, по команде, все низко поклонились:

— Честь вас имеем, панаша, проздравить с поворожденным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости. . .

Замахал Тихмень руками, как мельница.

— Как это — панаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое. Терпеть не могу. . .

— Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, можешь терпеть, иль не можешь. . .

Пристали — хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихменя угощали в собрании. И пошло с тех пор: каждый день на занятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки-Петяшки? Задолбили, заморочили Тихменю голову Петяшкой этим самым.

4. ГОЛУБОЕ

Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый — и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты, чтобы не замолкло золотой паутиной звенящее солнце.

Океан. . . Был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит виизу, у ног, сонно-голубым своим курево, мурлычет дремливую колдовскую песню. И столбы золотые солнца то лежали мирно на голубом, а то вот — растут, поднялись, подперли стены-синие нестерпимо. А мимо глаз плавно плывет в голубое, в глубь — Богородицына пряжа, осенняя паути-

пка, и долго следит Андрей Иванович за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата:

— ... Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил, смазал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иванович, не обертывается назад, все летит за паунтинкой...

— Ну что, тамбовская? Или нравится — загляделся-то?

Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иванович. С усмешкой глядел на него Шмит — высокий, куда же выше Андрея Ивановича, кренкий, как будто даже тяжелый для земли.

— Нравится-ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит. Ведь я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал — и вдруг... Подавляет... И даже нет: весь обращаешься в прах, по ветру летишь вот, как... Это очень радостно...

— Да что-о вы? Ну-ну... — и опять Шмитова усмешка, может — добрая, а может — и нет.

Для Андрея Ивановича она была доброй: весь мир был добрый. И он неожиданно даже для себя, благодарно пожал Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку — и лицо его показалось Андрею Ивановичу почти-что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, и нельзя было как следует заровнять, — слишком твердое. Да и подбородок...

Но Шмит уже опять улыбался:

— Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне говорил Нечёса.

— Да, уж чересчур он — «точно так»... Хочу поместиться, на какого угодно, только бы...

— Так вот меняйтесь со мной? Мой Гусляйкин -- пьяница, говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.

— Спасибо, вот уж спасибо вам... Вы мне очень много...

Простились. Андрей Иванович шел домой, весь еще полный голубого. Идти бы ему одному и нести бы в себе это бережно... Да увязался Молочко.

— Ну что, ну что? — подставлял он Андрею Иванычу розовую, глупоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь новенькое, что бы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании.

— Да ничего особенного, — сказал Андрей Иваныч. — Шмит предложил денщика.

— Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает первый, — можете себе представить? А вы были у Шмитов? А у командира? Да бишь... командир в отпуску. Вот лафа — в вечном отпуску. .. Вот бы так, можете себе представить?

— У Шмитов еще не успел, — говорил Андрей Иваныч рассеянно, все еще думал о сонно-голубом. — Был у Нечёсов, у генерала. .. Генеральша — вдруг, ни к чему, о бо-родавках. ..

Спыхватился Андрей Иваныч, да было уж поздно. Маковым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

— По-жа-луйста! Просил бы... Я горжусь, что удостоен, можно сказать, доверия такой женщины... Бородавки тут абсолютно не при чем... Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иваныч был рад.

У трухлявого деревянного домика Молочко остановился:

— Ну, прощайте, я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать Шмитовский зеленый домик и что-то подмигнул про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепугов, о Петяшке поручика Тихменя. ..

Еле-еле встряхнул с себя все это Андрей Иваныч. Стряхнул — и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом, в сказочном, на тамбовское таком непохожем. Не видя, поводил глазами по деревянным, сутулым домишкам-грибам.

Вдруг застучали в окно дробно так, весело.

— «Кому — мне?» — остановился Андрей Иваныч пе-

ред зелененьким домиком. — «Да нет, не мне», — пошел дальше.

В зелененьком домике распахнулось окно, кликнул веселый город:

— Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!

Недоуменно подошел Андрей Иваныч и фуражку снял: «Но как же — но кто же это?»

— Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь придется. Я Маруся Шмит, слышали? Сидела у окна — и думаю: а даи постучу? .. Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне о вас муж говорил. ..

Бормочет что-то Андрей Иваныч и глаза развесил: узкая, шаловливая мордочка, — не то тебе мышенка, не то — милой дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного глаза.

— Ну что, дивитесь? Озорная? Да мне не привыкать — смерть люблю выкомаривать. Я в пансионе дежурной была в кухне — изжарила начальнице котлету из жеваной бумаги. .. Ой-ой-ой, что было! А за Шмитов портрет. .. Вы Шмита-то знаете? Да Господи, ведь он же про вас и говорил мне. Вы приходите как-нибудь вечером, что за визиты. ..

— Да с удовольствием. .. Вы извините, я сегодня так настроен как-то, не могу говорить. ..

Но увидал Андрей Иваныч, что и она замолчала, и куда-то мимо него смотрит. Принахмурилась малость. Возле губ — намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь лягут.

— Паутинка, — поглядела в след золотой Богородицыной пряже.

Перевела на Андрея Иваныча глаза и спросила:

— А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот — об одной самой последней секундочке жизни, тонкой, вот-как паутинка. Самая последняя, вот, оборвется сейчас — все будет тихо. ..

Долго летели глазами оба за паутилкой. Улетела в голубое, была — и нету. ..

Засмеялась Маруся. Может, засмутилась, что вдруг так — о смерти? Захлопнула окошко, пронала.



Пошел Андрей Иванович домой. «Все хорошо, все превосходно... И чорт с ним, с Тамбовом... И чтоб ему провалиться... А здесь — все милое. Надо поближе с ними, поближе... Все милое. И генерал — что ж, он ничего».

5. СКВОЗЬ ГУСЛЯЙКИНА

С удовольствием спровадил Андрей Иванович своего тактичного истукана — Непротошного. Полученный от Шмита Гусляйкина, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи и не по-бабьи уж запивоха. То и знай, являлся с подбитой физией, изукрашенной кусками черного пластыря (пластырь этот Гусляйкина величал «кластырь» — от «класть»: очень даже просто). Но и такой — с заплатками черными и пусть даже пьяненький — все же он был для глаз Андрей-Иванычевых милее, чем Непротошнов.

Гусляйкин приметил, видимо, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции в знак благодарности. Видимо, у Шмитов Гусляйкина, как по бабьей его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то о Шмитовской спальне, что покраснел Андрей Иванович и строго Гусляйкина окоротил. Гусляйкин не мало был изумлен: «Господи, всякая барыня, да и всякий бариц тутошний, — озолотили бы за такие рассказы, слушали бы, как соловья, а этот... да наве-рно — притворяется только»... И опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иванович, как ни выговаривал Гусляйкину, тот все вел свою линию и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в Андрей-Иванычевой голове. То, вот, Шмит несет на руках Марусю; так, как ребенка, и во время обеда держит, кормит, из рук... То почему-то Шмит поставил Марусю в угол — она стоит, и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой — медвежья шкура...

И когда Андрей Иваныч собрался, наконец, к Шмитам и сидел в их столовой, с милыми, избушечными, бревенчатыми стенами, — он прямо, вот, глаза боялся поднять: а вдруг она, а вдруг Маруся — по глазам увидит, какие мысли? Ах, проклятый Гуслийкин...

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом:

— Гм... Так, говорите, понравился Рафаэль-то картофельный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чертям на кулички генерала не засунули-б. И теперь, вот, где солдатские деньги пропадают, где — лошадиные кормовые? Я уж чувю, я тут чу-ую...

— Ну, Шмит, ты уж это слишком, — сказала Маруся ласково.

Не вытерпел Андрей Иваныч: с противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Маруся стояла сзади под лампой. Перегнулась сейчас к Шмиту и тихонько, один раз, провела по жестким Шмитовым волосам. Один раз — но, должно быть, так нежно, должно быть, так нежно...

У Андрея Иваныча так и ёкнуло. «Но какое мне дело?» Нисакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так когда-нибудь один раз, только один раз...»

Проснулся Андрей Иваныч, когда Шмит назвал его имя.

— ... Андрей Иваныч у нас один, единственный, агничик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда — за оскорбление действием. Молочку — за публичное непотребство. Нечёсу — за губошленство. Косинского — за карты... Берегитесь, агничик, сгинете тут, соньетесь, застрелитесь...

Может оттого, что Маруся стояла под лампой, или от усмешки Шмитовой — но только неутвержеж — Андрей Иваныч вскочил:

— Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит, чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

— Ка-кой же вы! — засмеялась Маруся, золотая паутинка — самая последняя секундошка — зазвенела. — Ведь ты же, Шмит, шутить? Ведь, да?

Опять нагнулась к Шмиту из-за дивана. «Только-б не гледила. . . не надо же, не надо», — молился Андрей Иванович, затаил дух. . . Кажется, она что-то спросила — ответил наобум-Лазаря:

— Нет, благодарю вас. . .

— То есть, как — благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Я спрашиваю: были ли вы у Нечёсов?

И только, когда Шмит уходил, Андрей Иванович становился Андрей Ивановичем, нет никакого Гуслиякина, не надо бояться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все радостно.

Когда вдвоем — тут и думать не надо, о чем говорить: само говорится. Так и скажут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иванович обрывает, не договаривает. Но она должна понять, она же понимает, она слышит самое. . . Или, может быть, так кажется? Может, Андрей Иванович придумал себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы. . .

Запомнился—уложен в ларчик драгоценный—один вечер. То все ведро стояло, теплень, без шинели ходили, это в ноябрь-то. А то вдруг дунуло сиверком, синева побледнела — и к вечеру — зима.

Андрей Иванович и Маруся огня не зажигали, сидели, велушивались в шушуканье сумерок. Пухлыми хлопьями, шапками сыпался снег, синий, тихий. Тихо шел колыбельную — и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерок, слушать, баюкать грусть. . .

Андрей Иванович отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое белое — снег.

— Вот, дерево теперь все белое, — вслух думала Маруся, — и на белом дереве — птица, дремлет уж час и два, не хочет улететь. . .

Тихое снежное мерцание за окном. Тихая боль в сердце.

— Теперь и у нас, в деревне, зима — ответил Андрей Иванович. — Собаки зимой ведь особенно лают, вы помните?

Да? Мягко и кругло. Кругло, да... А в сумерках — дым от старновки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами. . .

Марусино лицо с закрытыми глазами было таким тревожно-бледным и нежным от снежных отсветов. . . Чтобы не видеть, — уж лучше не видеть — Андрей Иванович тоже закрыл глаза. . .

А когда зажгли лампу, ничего уже не было, ничего такого, что привиделось без лампы.

И эти все слова о дремлющей на снежном дереве птице, спием вечере — оказались такими незначущими, не особенными.

Но запомнились.

6. ЛОШАДИНЫЙ КОРМ

У русской печки — хайло-то какое ведь: ненасытное. Один спон спалили и другой, и десятый — и все мало и заваливают еще. Так, вот, и генерал за обедом: уж и суп поел, и колдунов литовских горку, и каши пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равнолей с десяток спровадил, и мяса черкаского, в красном вине тушеного, две порции усидел. Несет зайчонок-повар новое блюдо — хитрый какой-то паштет, крешим перцем пахнет, мушкатом,—как паштета не с'есть? Душа генеральская хочет паштета, а брюхо-то уж по сих пор полно. Да генерал хитер: знает, как брениое тело заставить за духом идти.

— Ларька, вазу мне, квакнул генерал.

Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, длинную и узкую, вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древне-римский манер.

— Ф-фу, — вздохнул генерал и положил себе на тарелку паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посадили ее — патворит еще чтонибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния, с веснушчатым вострым носом. А генеральша устроилась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика.

Покушав, генерал пришел в настроение:

— А ну-ка сказки, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает, — ну, знаешь?

Веснушчатая, досчатая, выцветшая Агния почувала какую то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она...

— Ух ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офицером, когда она бывает... в каком чине? В каком чине, а? Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния: кх-кх-кх. Куда деваться не знала. Чай, ведь — девица она и этакое... скромное... А генерал заливался: сначала внизу, в бурболоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, нагнулась над тарелкой, быстро-быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер — да как гукнет вдруг на нее этаким басом, как из бучила:

— Г-гу-у.

Ихиула Агния благим матом, сидя, запрыгала на стуле, заморгала, запричитала:

— Штоп тебе... штоп тебе... штоп тебе...

Раз двадцать этак вот «штоп тебе» и под самый конец тихонько: «провалиться, — штоп тебе провалиться, провалиться...» Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал ее со скуки из-за углов генерал — вот и привыкла.

Любил слушать генерал Агниеви причитания, — разгасился, никак не передохнет — хохочет:

— Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченая, вот дурья-то голова, охо-хо...

А генеральша прихлебывала, не слышала, далеко где-то, не тут жила.

Прикатился Ларька — запыхался.

— Ваше превосходительство, там капитан Шмит вас желают видеть.

— Шмит? Вот принесло... И поест толком не дадут, ч-чорт! Проси сюда.

Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату и скоро в дверной щели уже заходил веспуцатый ее нос, однажды мелькнувший Андрею Ивановичу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.

— А-а-а, Николай Петрович, здравствуйте. Не хотите ли, миленочек, покушать? Вот равиоли есть, пррев-восходные. Сам, неженчик мой, стряпал: им, паршивцам, разве можно доверять? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей: мозги из костей, пармезанец опять же, сельдерея молоденький — ни-и-как не старше польского... Не откажите голубеночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос — ровный, граненый, резкий и слышится на губах — невидная усмешка.

— Ваше превосходительство, капитан Нечёса жалуется, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно невозможно. Сам Нечёса, конечно, боится придти вам сказать... Я не знаю, в чем тут дело. Может, этот ваш любимчик, как его... Мундель-Мандель, ну как его...

У генерала прелестнейшее настроение: зажмурил свои буркалы и мурлычет:

— Мендель-Мандель-Мундель-Мондель... Эх, Николай Петрович, голубеночек, не в том счастье... Ну, чего тебе, еще надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка же, ну и милочка — и-т-ц-а, вот что... И подцепил же ты! Ну какого еще рожна тебе надо, а?

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжалась еще уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусочек и спросила треснуто:

— Нечёса?

И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснучатый вострый нос.

Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:

— Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки — кто, Мундель или не Мундель.

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мундель, — и ляпнула:

— Кормовые-то? Это вовсе не Мундель, а он, — кивнула на генерала. — Ему на обеды не хватает, проедается очень, — и засмеялась генеральша почти весело.

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:

— Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И главное — деньги пропадают, люди могут думать на меня, я — казначей. Этого я не могу допустить...

Узко сжаты Шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед. Но как синий напряженный лед в половодье: секунда — и ухнет, с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая весенняя вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул путряным своим басом.

— Да-пус-тить? Ка-ак-с?

И остушился на злочный визг:

— Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит генерал Азанчеев!

Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил, громыхнул стулом и накинулся на Шмита, осыпал, оглоушил:

— М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-ска-ть, а? Мне, Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре часа...

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:

— Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, да — р-разрешения у меня жениться? А теперь завел себе девчонку — и д-думаешь, и уж б-большой стал, и все тебе можно? М-мальчишка!

— Как... вы... сказали? — отрубил Шмит по одному пронзительные, как трехлинейные, пульки, слова.

— . . . Девчонку, говорю, завел, так и думаешь. . . По-годи-ка, миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А то ишь — ты, мы-ста, не мы-ста. . .

Твердый, выдвинутый вперед подбородок у Шмита мелко дрожал. Пол скрипнул, Шмит сделал шаг — отвесил генералу резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

И тут все перемешалось. Как, вот, бывает, когда ребятенки катятся с горы на ледяшках и в самом низку налетит друг на друга: от взрытого сугроба брызнет снег, салазки — вверх полозьями, и визг веселый, и жалобный плач ушибленного.

Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзлась. Свояченица Агния вскочила в родимчике и полоумно причитала: штоп, штоп, штоп, провалиться. . . Генеральша держала стакан в руке и треснуто, пусто смеялась — как, вот, пустышка смеется на колокольне по почам.

Генерал, без голосу, путром проспел:

— Под суд. . . У-пе-ку. . .

Шмит отчеканил по-солдатски:

— Как прикажете, ваше превосходительство.

И палево кругом.

Ларька любил сильные сцены: довольно крутил головой, пыхтел, как самовар, и обмахивал генерала салфеткой. Агния ихала, генеральша маленькими глоточками отпивала из стаканчика.

7. ЧЕЛОВЕЧЬИ КУСОЧКИ

Молочко пристал к Андрею Иванычу, как банный лист:

— Нет уж, атанде. Месяц уж, как приехал, и ни разу в собрание не заглянул, — можете себе представить? Это

с вашей стороны свинство. К Шмитам, небось, каждый день шлындаете!

Андрей Иванович зарозовел чуть приметно. «Правда, если и сегодня пойти к Шмитам, — это уж будет окончательно ясно, это значит — сознаться». . . Что — ясно и в чем — сознаться, этого Андрей Иванович еще и себе сказать не насмелился.

— Ладно, чорт с вами, иду, отмахнулся Андрей Иванович.

В раздевальной висело десятка полтора шинелей. Краска еще сырая малость: ноги прилипали к полу, пахло скипидаром. Молочко без отдыха молот что-то над ухом, забивал мусором Андрею Ивановичу голову:

— Ну, что, каково у нас? А каланча-то наверху? Новенькое, а? Нет, а вот, можете себе представить, слышал я, будто есть такая негораемая краска, каково, а? А вы читали, как у французов театр с людьми погорел, а? Сто человек, каково? Я за литературой очень слежу. . .

Наверху в зале табанники так патабачили, что хоть топор вешай. И в гомоне, в рыжем тумане — не люди, а только кусочки человечьи: там — чья-то лысая, как арбуз, голова; тут, внизу, отрезанные облаком, косоланые капитан-Нечёсовы ноги; поодаль — букет повисших в воздухе волосатых кулаков. Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в рыжем тумане самодовлеющие, как рыба в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума.

— А — а, Половец, давно, брат, пора, давно. . .

— Где пропал, почему не являлся?

Кусочки человечьи обступили Андрея Ивановича, загалдели, стиснули. Молочко нырнул в туман — и пропал. Капитан Нечёса знакомил с каким-то новым: Нестеров, Иваненко, еще кто-то. Но все казались Андрею Ивановичу на один лад: как рыба в аквариуме. . .

Два зеленых стола были раскрыты. Тусменным светом мазали по лицам свечи. Андрей Иванович проснулся вперед-поглядеть: как играют тут, на куличках, так же ли

иро, как в Тамбове далеком, или уж, может, соскучились, надоело?

Над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морилил лоб, что-то шептал, тыкал пальцем в карты.

— Что это? — обернулся Андрей Иванович к капитану Нечёсе.

Нечёса пошмурыгал носом и сказал:

— Наука имеет много гитик.

— Гитик?

— Ну да. Что вы, с неба, что ли свалились? Фокус такой.

— Но почему... по почему же никто не играет в карты? Я думал... — Андрей Иванович уже робел, видел — кругом ухмыляются.

Капитан Нечёса добродушно-свирепо пролаял:

— Пробовали, брат, пробовали, игрывали... Перестали.

Будет.

— Да почему?

— Да уж очень у нас много, брат, геннев, да, по части карт... Играют уж очень хорошо. Да. Не интересно...

Андрей Иванович сконфузился, будто он в том виноват был, что играют уж очень хорошо, и отошел.

Часов в одиннадцать всей ордой двинулись ужинать. И следом из карточной перепыл в столовую табачный дым, и опять засновали в рыжих облаках самодовлеюще человечьи кусочки: головы, руки, носы...

В столовой увидали печально-длинный и свернутый совершенно противозаконно в стороны нос поручика Тихменя. Развеселились.

— А — а, Тихмень! Ну как Петяшка?

— Зубки-то режутся? хлопот-то, небось, тебе, а?

Капитан Нечёса блаженно улыбался и ничего теперь на свете не слышал: наливал себе зубровки. Тихмень серьезно и озабоченно ответил:

— Мальчишка плохенький, боюсь — трудно будет с зубами.

Зали хохота, развеселого, из самых что ни на есть утроб.

Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол рядом с Андреем Ивановичем.

На конце стола, за хозяина, сидел Шмит. Он и сидя был выше всех.

Шмит позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат с заплаткой на колене.

— «Должно быть, ворует»... — почему-то подумал Андрей Иванович глядя на заплатку.

Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе огромный зеленого стекла японский стакан. Все заорали, захохотали:

— А-а, Половца крестить! Так его, Шмит.

— Морского зверя-китовраса!

— Это, брат, китоврас называется: ну-ка?

Андрей Иванович выпил жестокую смесь из полыни и хины, вытаращил глаза, задохся — не передохнуть — не мог. Кто-то подставил стул, и о вновь окрещенном забыли, или это он был без памяти...

Очнулся Андрей Иванович от скрипучего голоса, жалобно-надоедно одно и то же повторявшего:

— Это не шутка. Если б я знал... Это не шутка...

Если б я знал наверное... Если б я...

Медленно, трудно понял Андрей Иванович: это Тихмень. Спросил:

— Что?... Если б что знал?

— ... Знал бы наверно, мой Петяшка или не мой?

— Он пьян, да. А я не...

Но на этом месте сбил Андрея Ивановича смех и рев. Хохотали, ложились на стол, помирали со смеху. Кто-то повторял последнюю — под занавес — фразу скоромного анекдота.

Теперь стал рассказывать Молочко... рассказывали, должно быть, уж давно. Молочко раскраснелся, смаковал, так и висели в воздухе увесистые российские слова.

Вдруг с конца стола Шмит крикнул резко и твердо:

— Заткнись, дурак, больше не смей! Не позволю.
Молочко дернулся было со стула вскочить — и сел.
Сказал неуверенно:

— Сам заткнись.

Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане челевечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза.

Кто-то занял потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом, затанули тягуче, подняв головы кверху. И вот уже все заунывно в один голос, воют по-волчьи:

У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака с'ела рака,
Поп ее убил.
Закопал свою собаку,
Камень привалил.
И на камне написал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака с'ела рака...

Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов, все выли и выли, поднявши головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?

— Б-бум: половина одиннадцатого. И вдруг почувял Андрей Иванович с ужасом, что и ему до смерти хочется запеть, завывать, как и все. Сейчас он, Андрей Иванович, запоет, — сейчас запоет и тогда...

— «Что ж это, я с ума... мы с ума все сошли»?
Стали волосы дыбом.

... Поп ее убил.
Закопал свою собаку...
И на камне написал:
У попа была собака...

И запел бы, завыл Андрей Иваныч, но сидевший справа Тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Иваныча за ноги и тихо, — может, один Андрей Иваныч и слышал, жгалобно заскулил:

— Ах, Петяшка мой, ах Петяшка...

Андрей Иваныч вскочил, в страхе выдернул ноги. Побежал туда, где сидел Шмит. Шмит не пел. Глаза суровые, трезвые. «Вот он, он один может спасти»...

— Шмит, проводите меня, мне нехорошо, зачем поют?

Шмит усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли.

Шмит сказал:

— Эх вы! — и крепко сжал Андрею Иванычу руки!..

... «Вот хорошо крепко!.. Значит, он еще меня...»

Все крепче, все больше — «Крикнуть? Нет»... Хрустнули кости, боль адская.

... «И Шмит, и Шмит сумасшедший?»

— Вы все-таки ничего, терпеливы, — усмехнулся Шмит и пристально заглянул Андрею Иванычу в глаза, обвел усмешкой огромный Андрей-Иванычев лоб и робко угнездившийся под сенью лба курнофеечку — носик.

8. СОНАТА

Весь день после вчерашнего было тошно и мутно. А когда пополз в окно вечер — мутное закутало, захлестнуло в конец. Не хватала силушки остаться с собой, так вот — лицом к лицу. Андрей Иваныч махнул рукой и пошел к Шмитам.

— «У Шмитов рояль, надо поиграть, правда. А то этак и совсем разучиться недолго...» — Хитрил Андрей Иваныч с Андреем Иванычем.

Маруся сказала невесело:

— Ах, вы знаете, Шмита, ведь, на гауптвахту посадили

на три дня. За что? Он даже не сказал. Только удивлялся очень, что на три дня. «А я, говорит, думал». . . . Вы не знаете, за что?

— Что-то с генералом у него вышло, а что — не знаю. . .

Андрей Иванович сразу сел за рояль. Весело перелистывал свои ноты: «А Шмита-то нет, а Шмита посадили». . .

Выбрал Григовскую сонату. Только что тогда она вышла — перед тем, как ехать Андрею Ивановичу сюда, на кулички. И сразу Андрей Иванович в нее влюбился: уж так по душе ему пришлось.

Заиграл теперь — и в секунду среди мутного засиял зелено-солнечный остров и на нем. . . .

Нажал левую педаль, все внутри задрожало. «Ну покалуйста, тихо — совсем тихо, еще тише: утро — золотая паутишка. . . А теперь сильнее, ну — сразу солнце, сразу — все сердце настежь. Это же для тебя — смотри, па. . .»

Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком тахте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то мордочку. Смотрела на далекое — такое далекое — солнце.

Андрей Иванович играл теперь маленький, скорбный четырехбемольный кусочек.

. . . Все тише, все медленней, медленней, сердце останавливается, нельзя дышать. Тихо, обрывисто-сухой шепот, — протянутые, умоляющие о любви, руки — мучительно пересохшие губы кто-то на коленях. . . «Ты же слышишь — ты слышишь. Ну, вот — ну вот, я и стал на колени, скажи, может быть, нужно что-нибудь еще? Ведь все что. . .»

И вдруг — громко и остро. Насмешливые, быстрые хроматические аккорды — все громче — Андрею Ивановичу кажется, что это у него бывает, может быть, такой божественный гнев, он ударяет сотрясаясь три последних удара — и тихо.

Кончил — и ничего нет, ни гнева, ни солнца, он просто Андрей Иванович, и когда он обернулся к Марусе, — услышал:

— Да, это хорошо. Очень. . . — выпрямилась. — Вы знаете: Шмит жестокий и сильный. И вот: ведь даже

жестокостям Шмитовым мне хорошо подчиняться. Понимаете, во всем, до конца...

Паутинка — и смерть. Соната — и Шмит. Ни к чему, как будто, а заглянуть....

Андрей Иванович встал из-за рояля, заходил по ковру. Маруся сказала:

— Что ж вы? Кончайте, ну-у... Там же еще менуэт.

— Нет, больше не буду, устал, — и все ходил Андрей Иванович, все ходил по ковру.

— ... Я иду по ко-вру, ты и-дешь, по-ка врешь, — вдруг забаловалась Маруся — и опять стала веселая, пушистая зверушка.

Победила то, о Шмите, в Андрее Ивановиче, он засмеялся:

— Баловница же вы, погляжу я...

— О-о-о... А какая я была девчонкой — ух ты, держись! Все на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала.

— А теперь разве не на ниточке? — подковырнул Андрей Иванович.

— Хм... может, и теперь на ниточке, правда... А только я тогда, бывало, делала, чтоб упасть и оборвать — нечаянно... Хи-итрущая была... А то, вот, помню сад у нас был, а в саду сливы, а в городе — холера. Немытые сливы мне есть строго-на-строго заказали. А мыть скучно и долго. Вот я и придумала: возьму сливу в рот, вылижу ее, вылижу дочиста, и ем, — что ж, ведь они чистые стали...

Смеялись оба во всю глубину, по-детски.

— «Ну еще, ну еще посмейся», — просил Андрей Иванович внутри.

Отсмеялась Маруся — и опять на губах печаль:

— Ведь я тут не очень часто смеюсь... Тут скучно. А может, даже и страшно...

Андрею Ивановичу вспомнилось вчерашнее, воющие на луну морды, и он сам... вот сейчас запоем...

— Да, может, и страшно, — сказал он.

— А правда, — спросила Маруся, — к нам чугушку будто проведут, уж будто до Иркутска довели?

Неслышно вошел и столбом врос в притолку денщик Непротошинов. Его не видели. Кашлянул:

— Ваше-скородие. Барыня...

Андрей Иванович с злой завистью взглянул в его рыбы глаза: «Он здесь каждый день, всегда около...»

— Ну что там?

— Там поручик Молочко пришли.

— Скажи, чтоб сюда шел, — и, недовольно-смешно сморщив нос, Маруся обернулась к Андрею Ивановичу.

— «Значит, она хотела, она хотела, чтоб мы вдвоем?» — и радостно встретил Молочку Андрей Иванович.

Вошел и запрыгал Молочко, и заболтал: посыпалось, как из прорванного мешка горох, — фу ты, Господи! Слушают, не слушают, все равно: лишь бы говорить и своим словам самому легонько поддохатывать.

— ... А Тихмень вчера под стол залез, можете себе представить? И все про Петяшку своего...

— ... А у капитана Нечёсы несчастье: солдат Аржаной пропал, вот подлец, каждую зиму сбегает...

— ... А в Париже, можете себе представить, обед был, сто депутатов, и вот после обеда стали считать, а пять тарелок серебряных и пропало. Неужли депутаты? Я всю дорогу думал, я знаю — ночью теперь не засну...

— Да, вы, заметно, следите за литературой, — улыбнулся Андрей Иванович.

— Да, ведь я говорил вам? Как же, как же! За литературой я очень слежу...

Андрей Иванович и Маруся переглянулись украдкой и еле спрятали смех. И так это было хорошо, уж так хорошо, — они вдвоем, как заговорщики...

Андрей Иванович любил сейчас Молочку. «Ну еще, милый, рассказывай еще.»

И Молочко рассказывал, как один раз на пожаре был. Пожарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехонек, — «можете себе представить»? И как фейерверкер

заставил молодого солдата заткнуть ружьеолой полушубка и пальцем: так, мол, пулю удержит.

— И оторвало ведь палец, можете себе представить?

Уже все высмеяла Маруся — весь свой смех истратила — и сидела уж не улыбой. Андрей Иванович встал, чтоб идти домой.

Прощались. «Поцеловать руку или так?» Но первым подскочил Молочко, нагнулся, долго чмокал Марусину руку, Андрей Иванович только пожал.

9. ДВА ТИХМЕНЯ

Поручик Тихмень не даром лез под стол: дела его были в конец некудышные.

Была у Тихменя болезнь такая: думать. А по здешним местам, очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глушить перед зеркалом, блаже в карты денно и ношно резаться, только не это.

Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну, и дочитался, конечно, додумался: «Все, мол, на свете один только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот-те и раз: капитан-то Нечёса — впечатление? Может, и все девять Нечесят с капитаншей в придачу — впечатление? Может и генерал сам — тоже?

Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось — в том заматореет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству: Иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые — всегда ему, как репей под хвост.

— Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по моему, все родители это — олухи, караси, пойманные на удочку, да. Дети так называемые... Да для ходу, для ходу-то — это же человеку тачка к ноге, карачун... Отцвет, продажа на слом — для родителей-то... А впрочем, господа, вы смеетесь, ну и чорт с вами...

А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный и свернут направо, и ежели машет он руками, как вот мельница-ветряшка? Как же не смеяться, ежели скептиком великим Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а чуть только выпьет... А ведь тут на отлете, в мышеловке, на куличках, прости Господи, у чорта, — тут как же не выпить?

И, выпивши, всякий раз обертывается презрительный Тихмень идеалистом: как в древнем раю, тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека.

Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею — рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало — все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы, — словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов свершается таинство любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются златокудрые дети...

Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с меньшим рвеннем, чем своих ближних, и исполнялся еще большею ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми, и что люди легкомысленно величают индейкой.

Год тому назад... да, это так: уже почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем.

Были сватки — несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные тутошние сватки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулокался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрало.

Капитана Нечёсы не было дома, ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично-вкусным столом скучала каштанша Нечёса; ведь первый день всегда празднично-скучен.

Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы рыцарь Тихмень. И, принимая из ее ручек порцию гуся, сказал:

— Как я рад, что ночь.

— Почему же это вы рады, что ночь?

Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое большое: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь Тихмень сказал:

— Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом.

— Это было по вкусу капитанши: она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.

Откушали — пошли в капитаншин будуар, он же — спальня.

И опять: тверезый Тихмень — как огня бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним вечером. А рыцарь — Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой.

Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на листе бумаги огрызком карандаша поставили кружки-города и долго возили друг дружку, и старались запутать.

Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей дамы, дабы облегчить ее труд. И так, незаметно доехали они до Катюшкиной кровати...

Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки по части Петяшки? Нуль, сущее наплевать. А теперь... да, чорт его ведает, может, и правда Петяшка-то...

— Ах, ты, олух, идиотина, карась!

Так хватался за голову Тихмень и честил себя... трезвый.

А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Петяшка. Прямо вот — сердце разрывалось у пьяного; и неизвестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?

Но сегодня Тихмень вернулся веселыми ногами после обеда званого у генерала и знал, что сделать, как узнать про Петяшку.

— А, что, с'ела? А я, вот, узнаю... — поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию.

Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нечёса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать, тихохонько пробрался домой — и прямо в будуар.

Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то у ней там затрюкалось, и вот уже месяц, все поправиться как следует с силами не соберется.

— Здравствуй, Катюша, — поцеловал Тихмень кругленькую ручку.

— Что-то ты, милый, вежлив, как... тогда был. Не забудь, что тут дети.

Да, здесь все, как и тогда: и кровати-слоны, и на вешалке халаты. Только, вот, дети: восемь душ, восемь чумичек, мал-мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах — денщик Яшка Ломайлов.

— А ты отошли детей. Мне надо поговорить, — серьезно сказал Тихмень.

Капитанша мигнула Яшке, Яшка и восемь ребят испарились.

— Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? — спросила капитанша сердито. А внутри так и запылило любопытство: «Что такое? О чем может этот статуи?»

Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все шика духу не хватало настояще сказать.

— Видишь ли, Катюша... Это сразу, оно может и так показаться, тово... Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать: мой Петяшка наверняка — или не мой?

Уж у так круглые, а тут и еще покруглели капитанщины глазки и молча уставились в Тихменя. Потом прыснула она, затрясла кудерьками:

— Вот дурашный, ну и дурашный, рассмешил, ой, ей-Богу. Ну, а если я не знаю — тогда что?

— Взаправду — не знаешь?

— Вот чудород! Да что мне, — трудно бы тебе сказать, что ли, было? Не знаю — и весь сказ. Вот еще допросились пашелся!

— ... «И она не знает, пропало теперь дело»... Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил.

В коридорчике налетел на капитана Нечёсу: тот тоже себе шел, ничего не видя.

— А, ч-орт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? — ругнулся капитан.

Тихмень взглянул на Нечёсу: эге.

— А ты что на квинту?

— Э-э, брат. У меня — горе: Аржаной сбежал, ну и это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается — манзу прихлопнул.

— А у меня... — и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.

10. СОЛДАТУШКИ, БРАВО, РЕБЯТУШКИ

Который настоящий да хороший мужик, тот, если за сохой походил да землю нюхнул, так уж во век этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так. Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке, — он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лонату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма — сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй, — он и рот разинул. Сущее с ним горе капитану Нечёсе: мужичина Аржаной здоровенный, правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с ним, что хочешь...

— Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался. Что у тебя в башке?

А чорт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй. Должно быть, утро росное весеннее, пашни паром курятся, лемех от земли жирный, сытый землею, а в небе — жаворонка. И будто, вот, в пустельге в этой, в жаворонке, вся механика-то и есть. И все дерет Аржаной го-

лову кверху, все рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?

— Аржаной, балаболка, штык ровный, по средней линии, — не видишь?

Глядит Аржаной на штык: ишь ты, солнце-то на нем как играет, — глядит и думает:

— «Вот ежели бы да, например, из этого штыка — да лемех сковать. Ох, и лемех бы вышел — повиную вздрать, вот бы!»

И все это еще, туда бы — сюда, все это дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Аржаной — манзу прихлопнул — этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу идти, ах ты Господи...

Качает капитан Нечёса лохматой своей головой: качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.

— Да как это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надуумил? Зачем?

Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скуластей, еще больше обветрел, земле предался.

— Такое вышло дело, ваше-скородие. Рассказали мне солдатейки проклятые, что, мол, теперича идут по большой дороге манзы эти самые и, знычь, несут панты оленьи, а пантам этим самым цена, быдто, полтыщи... Ну я, знычь, убег и подстерег манзу-то...

Затонал капитан свирепо на Аржаного, залаял, начал его обкладывать-вдоль и понерек. А Аржаной стоит и ухмыляется: знает капитан Нечёса солдата не обидит, а брань-то на вороту не виснет.

И только тогда обробел Аржаной, когда услышал, что к генералу придется идти: тут побелесел даже со страху.

Увидал это капитан Нечёса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному.

— На, такой-сякой, пей. Да не робь: авось вызволим как-нибудь.

Увели Аржаного в кутузку, ходит капитан по комнате
леспокоен.

— «Вот начунит этакий прохвост — а ты расхлебывай,
ты выкручивайся. Да еще под какую руку к генералу
попадем, а то и под суд угонит»...

Ходит капитан — места не найдет. Запел свою люби-
мую песню, она же и единственная, исполняемая капита-
ном:

Солдату-ушки, bravo-ребяту-ушки.
Да где же ва-аши жё-на?

У Катюшки кто-то из вздыхателей сидит: ишь-ты, хо-
чет она кругенько как, да звонко. К Тихменю теперь
хоть и не подступайся, ходит тучи чернее, раньше хоть
с ним можно было в поддавки сыграть и за игрой о горях,
о печалях позабыть... Эх!

Махнувши рукой, вынимает капитан очки в черной
роговой оправе. Читает капитан простым глазом, и очки
надеваются в двух лишь случаях: первый—когда капитан
Нечёса ремонтирует некую часть своего туалета, а вто-
рой...

Капитан Нечёса берет оружие — грошовую иглоку,
специально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую
ореховую ручку. Капитан Нечёса затягивает любимую свою
— и единственную — песню и бродит в столовой возле
стен. Некогда стены, несомненно, были оклеены превос-
ходными голубыми обоями. Но теперь от обоев осталось
лишь неприятное воспоминание, и по воспоминанию ползают
рыжкие, усатые прусаки.

... Наши жёна — ружья заряже-ена,
Вот где наши жё-ена...
Солдату-ушки, bravo — ребяту...

— Ага, дьявол, попался! Та-ак!

На грошовой иглолке трепыхается рыжий прусак. Долж-
но быть, от очков — лицо у капитана свиное, свирепое,

а уж лохматое — не приведи Господи... Капитан кро-
вожадно-удовлетворенно глядит на прусака, сбрасывает до-
бычу на пол, с наслаждением растирает ногой...

... Наши сё-стры — сабли-ружья во-остры,
Вот где на-аши сё-...

— А-а, такой-сякой, в буфет лез? Будешь теперь ла-
зить? Будешь?

И поглядеть вот сейчас на капитана Нечёсу — так, ей-
Богу, страшно: зверь-ты-зверина, ты скажи свое имя. А
кто с капитаном пуд соли с'ел, так тот очень хорошо знает,
что только с тараканами капитан свиреп, а дальше тара-
канов нейдет.

Да вот хоть капитаншу взять: рождает себе капитанша
каждый год ребят, и один на ад'ютанта похож, другой —
на Молочку, третий — на Иваненко... А капитан Нечёса —
хоть бы что. Не то невдомек ему; не то думает: «а, пусть,
все они — младенчики, — все ангелы Божьи»; не то просто
иначе и нельзя по тутошним местам, у чорта-то на кулич-
ках, где всякая баба, хоть самая никчemuшная, высокую
цену себе знает. Но любит капитан Нечёса всех восьме-
рых своих ребят, с девятым Петяшкой в придачу, — любит
всех одинаково и со всеми няньчится.

Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки
о штаны, идет он в детскую, чтобы тревогу свою об Ар-
жаном утишить. Восемь оборванных, веселых чумазных
отерханов... И долго, покуда уж совсем не стемнеет,
играет в кулочки с чумазыми капитан Нечёса.

Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой
в передней на конике и пристраивает заплату к коленке
Костенькиных панталон: совсем обносился мальчонка. А
из капитаншина будуара, он же и спальня с слонами-
кроватями, — слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи!
Не было бы к лету десятого!

11. ВЕЛИКАЯ

Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело идет о приемке новых станков прицельных. А все же на такие дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг его — капитана Шмита. Ну, ладно...

Уехал. Андрей Иванович и Маруся были на пристани. Проводили Шмита, вдвоем шли домой. Под ногами на лыжах холодным хрустом хрунал ледок. Земля мерзлая, тусклая, голая — лежала неубратым покойником.

— А у нас там теперь — мякко, тепло, снег, — сказала Маруся. Еще глубже, ушла подбородком в мягкий мех еще больше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой.

Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними туманная долина. И в тумане шевелятся, стали у самой дороги, как нищие, семь хромых деревянных крестов.

— «Семь крестов» — вы знаете? — кивнула туда Маруся.

Андрей Иванович помотал головою: нет. Языком шевельнуть боялся, а то снимется и улетит вот это, что бьется в нем и что страшно назвать.

— Семь офицеров молоденьких... И не очень, чтоб давно, лет, что ли, восемь или девять... Все — в один год, как от заразы... На кладбище-то их ведь нельзя было...

... «Семь... Что ж они — отдельно, или сразу все? Да, собрание, у пона была собака... Фу, какая чепуха... Зараза. Может быть — любовь?»

Вот по такой дорожке промчался Андрей Иванович и вслух сказал:

— Что же, ведь любовь — она и есть болезнь... Душевно-больные... Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гипнозом? Наверное, можно бы...

Андрей Иванович искал ее глаз, чтобы увидеть: слышит ли она, что он говорит, хочет сказать. Но глаза были спрятаны.

— Да, может быть, — ответила Маруся себе. — Болезнь... Как лунатики, как каталентики... Всякую боль, муку терпеть... Распяться для... для... О, все хорошо, все сладко...

Теперь Андрей Иванович видел глаза. Они очень блестящие, лучились. Но для кого, о ком?

... Скажу, сегодня скажу ей все». Андрей Иванович задрожал дрожью тоненькой, очень острой, и услышал ее, как струну, где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, — все звенела и звенела.

Прежде чем войти в поселок, они остановились и последний раз оглянулись на небо. В разорванных облаках полымем поыхала заря: всплеснулось что-то тревожно-красное снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет...

Милая бревенчатая столовая Шмитов. Знакомый запах — не то зябрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было простое, полевое, спокойное. А теперь двигалось, каждую секунду менялось, ждало. И никогда прежде не видел Андрей Иванович этого красного дрожащего, дразнящего языка лампы.

Маруся была слишком весела. Рассказывала:

... Шмит еще кадетиком был, в белом парусиновом... Он и тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотелось, чтобы поцеловал, а он... А я на качелях качалась, было жарко. Ну, думаю, погоди же. Взяла — да с качелей об землю — бряк...

Звенела остро струна в правой половине клавиатуры. «Зачем это она говорит?»

В дверь постучали. Вкатился самоварно-сияющий генеральский Ларька, где-то за ним статуем стоял в полутьме Непротошнов.

Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им конверт, положила на стол: надо сперва досказать.

—...Об земь брякнулась — и кричу: ой, ушиблась! Тут уж, конечно, Шмитово сердце не вытерпело: где, говорит, где? Показала плечо: тут, мол. Ну, конечно, он... А я и на губы: и тут, говорю, тоже ушибла... Ну, он и губы... Вот ведь мы хитрущие какие, женщины, — если захотим...

Засмеялась, зарозовелась, была той самой девочкой на качелях.

Вынула письмо читала. Медленно опускались качели вниз, все вниз. Но еще держалась улыбка на лице, как озябшая осенняя пижучка на безлистном дереве: уже мороз, уж улетат пора, а она все еще сидит и пиликает — как будто и то же самое, что летом, но выходит совсем другое.

— Вот... я и не понимаю, не могу... Вот... вы... — и задохнулась. Протянула Маруся письмо Андрею Ивановичу.

«Милостивая Государыня, голубонька Марья Владимировна. Пятнадцатого ноября сего года ваш милейший муженек нанес мне оскорбление действием (свидетели: денщик мой Ларька, генеральша моя и своячения Агния; последняя видела все сквозь дверную щель). Такие вещи ценятся, конечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан Шмит, а малость посерьезней: каторгой — от 12 лет. Дальнейшее направление этого дела, сиречь предание его усмотрению военного суда или вечному забвению, зависит всецело от Вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за муженька хотите малость расплатиться, так пожалуйте ко мне завтра в двенадцать часов дня, перед завтраком. А коли не захотите, — так в том, голубонька, воля Ваша. А то бы пришли, я бы, старик, ах, как бы рад был.

Почитатель Ваш *Азанцев.*»

Цеплялась Маруся за глаза Андрей-Иванычевы, озябшей, неверящей улыбкой молила его сказать, что неправда это, что ничего со Шмитом...

— Ведь, неправда же, ведь — неправда? — вот сейчас, кажется, станет она на колени.

— Правда, — только и мог сказать Андрей Иванович.

— Господи, нет! — всхлинула Маруся, все еще непокорно-детская. Положила в рот палец, из всей мочи закусила...

Андрей Иванович молчал.

«Каторга»? — медленно постигала Маруся чуждое, закованное, громыхающее слово... медленно...

Отвернулась. Какие-то странные обрывки не то смеха, не то предсмертной икоты.

— ... На минутку... в зал... ради Бога... выйдите, мне одной бы...

Одна. Встала, подошла к стене, прислонилась лицом, чтобы никто не видел... Сдвинулось в голове, все понеслось под гору без удержу. Привиделось — и откуда? — лампада под праздник, мать пред иконой ничком, такая чудная, сложенная пополам, а кто-то из них, из детей, больной лежит.

— ... «Ну, а если не пойти? Но ведь Шмита не покажет он никогда. Каторга...»

... «Богородица, милая, ты ведь всегда меня любила, всегда... Не отступись, родная, никого у меня нету — никого, никого!..»

Когда Андрей Иванович снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся, веселая девочка на качелях. Увидел Андрей Иванович строгую, скорбную женщину, рожавшую и хоронившую: вот эти, вот, глубокие морщины по углам губ — разве не следы они похорон? И пусть занашет жизнь еще глубже борозды — все стерпит, все поднимет русская женщина.

Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо:

— Андрей Иванович, пожалуйста... Пойдите и скажите денщику, что хорошо, что я...

— Вы? Вы — пойдете?

— Да пужно, ведь. Иначе...

Все в Андрей Ивановиче задрожало, помутилось. Он стал на колени, губы тряслись, искал слов...

— Вы... вы... вы великая... Как я любил вас...

Люблю — не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго.

— Мне лучше одной. Вы только послезавтра придите, когда Шмит придет. Я не могу одна его встретить...

Ни месяца, ни звезд, небо тяжелое. Посеред улицы, спотыкаясь о замерзшую колодь, бежал Андрей Иваныч.

— «Нет, нельзя допустить... Немыслимо, возмутительно!.. Что-нибудь надо, что-нибудь надо... У пона была собака... О Господи, да при чем это?»

Как в бреду, добежал до генеральского дома: слепые, темные окна, все спят.

— «Звонить? Все раздеты... Ведь уж первый час... Немыслимо, смешно...»

Обежал еще раз кругом: нет, ни единого огонька. Если б хоть один, хоть один, — тогда бы...

... До завтра?

Андрей Иваныч пощупал задний карман: «И револьвера нет, что ж я руками-то? Смешно, только выйдет смешно... Э-э...»

Так же без памяти, сломя голову, добежал до дома. Позвонил, ждал. И тут вдруг ясно представил: Маруся — и генеральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как у лягвы. Скрикнул зубами:

— Ах я проклятый!

Но денщик Гусляйкин, ухмыляясь любезно, закрывал уже дверь на ключ.

12. МИЛОСТИВЕЦ

Нынче генерал раным-рано поднялся: к девяти часам вздобрился уж, кофею палокался и в кабинете сидел. Чинил генерал по пятницам суд и расправу.

— Ну, Ларька, кто там? Да живей поворачивайся, волчком чтоб у меня вертелся — ну?

Генерал бухнулся в кресло: кресло аж заохало, еле на ногах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по брюшку:

— «Придет, голубонька, али нет? Эх, и пичужечка же, да тоноусенькая, да веселенькая... Эх!»

Разбудил генерала густой барбосий лай капитана Нечёсы:

— Вот, ваше превосходительство, Аржаной, который манзу-то убил. Тут он, привел я, позвольте доложить...

— «Ох, придет же, голубонька, уважит старика, придет», — расплывался генерал, как блин в масле.

— «И чего это он ухмыляется, чем доволен?» — вытаращился Нечёса. — Прикажете привести, ваше превосходительство? Они тут.

— Да веди, миленок, веди, поскорей только...

Вошли в кабинет и у двух притолок встали: Аржаной — степенный, как и всегда, хоть был он после бегов щетирист и лохмат, и свидетель, Опенкин, рябой, с бородой-мочалой, этакий, видать; кум деревенский, разговорщик.

Должно быть, если б сейчас лошадей из конюшни приволокли в кабинет, так же бы они пятились, дыбились и храпели в страхе. И так же бы, как из Аржаного с Опенкиным, клещами бы из них слова не мог вытянуть капитан Нечёса.

— Да ты не бойся, чего ты, — утешал капитан Опенкина, — твое дело сторона ведь: тебе ничего ведь не будет.

... «Сторона-то сторона. А как разгасится генерал»... — молча дыбился Опенкин. Однако огляделся помалу, рот раскрыл. А уж раскрыл — и не остановить его: балакает — и сам себя слушает.

— Что ж китаец, обнакновенно, манза-манза он и есть. Стретил я его, можно-сказать, на околице, идеть себе и мешшина у его зда-ро-венный на спине. Ну, он мне, конечно, здраст-здраст. И-и залопотал по ихнему, и-и пошел... Ну чего, грю, тебе чудачо-ок? Ни шиша, грю, не понимаю. Чего б, мол, тебе по нашему-то, как я, говорить?

И просто, мол, и всякому понятно. А то, вот, нет — накося, по-дуравьи язык ломает...

— Э... э, брат, завел! Ты лучше про Аржаного расскажи, как ты его встретил-то?

— Аржаной-то? Да как же, о Господи! Кэ-эк, это, он зачал мне про братнину жену, про ребяенок рассказывать... Мал-мала, грит, меньше, есть хочут и рты, грит, разевают... Рты, мол, разинули... И так Аржаной расквелил меня этим самым словом, так расквелил... Иду по плитуару — навозрыд, можно-скать, и тут же перебуваюсь...

Тут даже и генерал проснулся, перестал ухмыляться чему-то своему, вынул буркалы лягушьи:

— Пере-буваюсь? Это, то есть, почему же: перебуваюсь?

И как это господа не понимают, что к чему? Вот сбил теперь Опенкина, и конец. Нешто так можно перебивать человека? Вот теперь все и забыл Опенкин, и боле ничего...

Степенно, басисто рассказывает Аржаной. Главное дело — отпустили бы его только панты эти самые отконать. А то проведуют солдатишки проклятые... А стоят-то панты эти полтыщи, о Господи...

— Ваше превосходительство, уж дозвольте пойтить взять. Ведь наше такое, знычь, дело крестьянское, деньги-то вот как надобны, подата онять же...

Генерал опять улыбался, подирывивал легонечко в кресле этак вот: вверх и вниз, вверх и вниз. Щекотал себя по брюшку:

— «Ах, голубонька, плачет, ноги, разливается... Ах, дитёнок милый, чем бы тебя разутешить? А может, пожалеть, а?»

Генерал покачал головой на Аржаного:

— Эх ты, голова-два уха! Тебе бы только панты. А человека тебе нипочем укокошить? Жалеть надо, человека-то, миленок, жалеть, вот что.

— Ваше превосхо... Да ведь они манзы. Нешь они человеки? Так, знычь, вроде куроптей больших. За их

и Бог-то не взыщет. Ваше превосходно... дозвольте панты-то, ведь ребяточки, есть пить... рты разинули...

Генерал загоготал, заходило, залескалось его брюхо:

— Как? как? Вроде, говоришь куроптей? Хо-хо-хо!

Ну, ладно, вот что. Вы этого сукна сына... хо-хо, куроптей, говорит! Вы его домашним порядком, плеточкой, понимэ? И потом отпустите его панты эти взять, чорт с ним, и под арест на десять суток, вот-с...

Аржаной бухнулся в ноги: «Стало быть, панты-то мои?»

— Ваш превосходно... благодетель, милостивец!

Капитан Нечёса, уходя думал:

— «Ах, не спроста это, доже что-то добёр ныче!»

Генерал вышел в гостиную, зжмурился, улыбался. У окна сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то красным.

— Чей-то, матушка, голосок я слышал? Молочко, что ли? Все еще хорогодишь?

— Молочко отлынивать что-то стал, — рассеянно глядела генеральша мимо, — бородавки у себя развел, так нехорошо. Ты бы его приструнил...

Подскочила Агния. Вихлялась, подпрыгивала около генерала:

— А Молочко про Тихменя рассказывал: совсем малый снятил, все добивается, его или нет Петяшка, капитанши девятый...

Хихикала Агния в сухой кулачек. Генерал весело ткнул ее в бок:

— А ты, Агния, когда же родишь, а? За Ларьку бы, что ли, выходила, что ж даром-то так пропадать?

А Ларька — как раз, вот, и пришел, и стоит в дверях. Увидала его Агния — запрыгала, запричитала: «штон-штон штон-тебе-пр-провалиться»...

Ларька подкатился любовно к генералу:

— Ваше преосходительство, вас дождидают там... К вам, говорят, лично.

Так и затренихался генерал: неужто ж и впрямь пришла?

Побежал, засеменял. Брюхо побежало впереди, — выходило, будто, катил его генерал перед собой на тачке. Высоко подтянутые брючки трепались над саногами.

Что-то такое учуяла нюхом своим Агния и, сказав «я сейчас», упорхнула от генеральши в свою комнатку.

Комнатушка — клетушка маленькая, но за то веселые, с малиновыми букетами, обои, и пахнет каким-то розовым щипучим мылом. А все стены уклеены вырезанными из «Нивы», из «Родины» портретами: все мужские портреты аккуратно Агния вырезывала и тащила к себе — и генералов, и архиереев, и знаменитых ученых.

Но не в букетах, и не в портретах даже суть. А в том, что под большим портретом императора Александра III укрывала Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в генералов кабинет. И теперь прильнула ухом к щели и, как манну небесную, ловила все, что в кабинете творилось.

13. КЛАДЬ ТЯЖЕЛАЯ

Шмит веселый, развеселый вернулся из города: уж давно его Андрей Иванович таким не видал. Шли втроем с пристанции; Шмит звал обедать. Стал было некаться Андрей Иванович, да Шмит и слышать не хотел.

— Эх, по заливу шуга идет, — говорил Шмит. — Лыдинки скрипят около баркаса, машина изо всех сил стучит... Эх, хорошо, борьба!

Шел он высокий, тяжелый для земли, шел залпом морозный воздух.

— Борьба, — велух подумал Андрей Иванович, — борьба утомляет. К чему?

— Отдых утомляет еще больше, — усмехнулся Шмит.

— «Да, он устанет нескоро, — глядел Андрей Иванович на Шмита, — он бы не задумался, что спят, что нет револьвера... И ничего бы этого не было... А может, и так не было?»



В первый раз за сегодня насмелился Андрей Иванович и взглянул на Марусю. Ничего... Но только эта неподвижность лица и заплетенные крепко пальцы...

— «Она была там, это... было», — захолонул весь Андрей Иванович.

— Ну, что ж ты, Маруська, делала, что во сне видела? — Шмит нагнулся к Марусе. Жесткий его, кованый подбородок исчез, весь Шмит стал мягкий.

Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужатся, а все ни с места. Уж и дубинушку снесли, и куплет ахтительный какой-нибудь загнули про подрядчика; ну, еще раз! — напружились: и ни с места, как заколдовано.

Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться: всю свою силу в одно место собрала — к губам — и не может, вот, не может, ни с места, и все лицо дрожит...

Видел это — смотрел, не дыша, Андрей Иванович: «Господи, если только оглянется сейчас на нее Шмит, если только оглянется»...

Секунда, одна только секундочка бесконечная — и со-владала Маруся, улыбулась. И только голос дрожал у нее чуть приметно:

— Господи, до чего ж иной раз вещи шкчемушние снятся, смешно. Мне, вот, всю ночь снилось, что надо разделить семьдесят восемь на четыре части. И вот уж будто разделила, поймала, а как написать, так и опять число забыла, и нету. И опять: семьдесят восемь на четыре части — не умею, теряю, а знаю — надо. Так страшно это, так мучительно...

«Мучительно» это была форточка туда, в правду. И даже радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей своей болью. И опять все это поймал Андрей Иванович — и снова захолонул, заледенел.

Шмит шел впереди их двоих уверенным своим, крепким, тяжелым шагом:

— Э-э, да ты, Маруська, кажись, это серьезно! Надо уметь плевать на такие пустяки. Да, впрочем, не только на пустяки: и на все...

И сразу Шмит, вдруг, вот, стал немил Андрею Иванычу, нелюб. Вспомнилось, как Шмит жал ему руку.

— Вы... Вы эгоист, — сказал Андрей Иваныч со злостью.

— Э-го-ист? А вы что ж думаете, милый мальчик, есть альтруисты? Хо-хо-о. Все тот же эгоизм, только дурного вкуса... Ходят, там, за прокаженными, делают всякую гадость... для-ради собственного же удовлетворения...

— «Ч-орт проклятый... А вот, что Маруся сделала... Неужели... неужели ж ничего он не замечает, не чувствует?»

А Шмит смеялся:

— Э-го-ист... А барышня писала: «эгоист», — они все ведь безграмотные. Ах, Господи, да кто ж это мне рассказывал? Сидят на скамейке, она зонтиком на песке выводит: и... т. — «Угадайте, — говорит, — это я написала о вас». Обожатель глядит, читает, конечно, «идиот», — что ж еще? И трагедия... А было-то «эгоист»...

Марусе нужно было смеяться. Опять: заколдованная кладь, грузчики напружились из всех сил... Закусила губы, поблудил Андрей Иваныч...

Засмеялась, наконец, — слава Богу, засмеялась! Но в ту же секунду раскололся ее смех, покатались, задрезыкали осколочки, хлынули слезы в три ручья.

— Шмит милый! Я больше не могу, не могу, прости Шмит, я тебе все расскажу... Шмит, ты ведь поймешь, ты же должен понять! Иначе как же?

Всплескивала маленькими своими, детскими ручонками, тянулась вся к Шмиту, но не смела тронуть его: ведь она...

Шмит повернулся к Андрею Иванычу, к прокаженному его лицу, но не увидел в нем удивления. Шмитовы глаза узко сощурились, стали как лезвие.

— Вы... Вы уж знаете? Почему вы знаете это раньше, чем я?

Андрей Иваныч сморщился, поперек глотки стал ком, он досадливо махнул рукой.

— Э, оставьте, мы с вами после! Вы поглядите на нее: вы ведь ей в ноги должны кланяться. . .

Шмит выдавил сквозь стиснутые зубы:

— Муз-зы-кант! Знаю я этих муз-зы. . .

Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Маруся-то, как стояла, так — села на землю, поджав ноги, а глаза закрыты.

Шмит поднял ее на руки и понес.

14. СНЕЖНЫЙ УЗОР

Каждый день вечером подходил Андрей Иванаыч к Шмитовской калитке, брался за звонок и назад уходил: не мог, ну, вот не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала? Шмит бы убил. . .

Но и так сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там, — еще больше не мог он.

— «Господи, только бы как-нибудь увидеть, хоть немного, что она. . .»

И на пятый день к вечеру Андрей Иванаыч придумал-таки. Нанял пальто, взял было шапку, — поставил опять в угол.

— Куда это вы, на ночь глядя? — спросил Гусляйкин и, показалось Андрею Иванаычу, подмигнул.

— Я. . . Я не скоро приду, ложись спать.

На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский, так только, сверху чуть-чуть.

— «Снег — это неплохо, хрустит, и от месяца — как днем, ясно. . . Все равно. . . Надо же. . .»

Андрей Иванаыч зуб на зуб не попадал — от холода, что ли? Да нет: мороз — не Бог весть.

Окна у Шмитов завешены были морозным самоцветным узором. Андрей Иванаыч поднялся на цыпочки и терпеливо

стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть. — Господи, если б хоть немного... хоть немного...

Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостинной синий полусвет, смутно-острые тени от пальмы — за тем самым диваном.

Дрожал, глядел Андрей Иванович в протаявший круг. Мерзли руки и ноги. Нескоро, может, через полчаса, может, через час, пришла мысль:

— «Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния какая-нибудь. До чего ж, значит я... Надо уйти...»

Отошел на шаг — и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг увидел: на снежном экране окна две тени заколыхались — большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясая, как в лихорадке.

Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего не понять... «Господи, что они там делают, что они делают?»

Маленькая тень поменьше, стала на колени, а может упала, а может... К ней нагнулась большая тень...

Впился, всем своим существом ушел Андрей Иванович в проклятую темную завесу, силится ее разорвать...

— Тр-рах! — стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое. Кровь... Отскочил Андрей Иванович, ошалело глядел на осколки у ног, стоял и глядел, как вкопанный, — бежать и не подумал.

Очнулся, — возле него был уж Шмит.

— А-а, так это вы, муз-зы-кант? Подсматривали-с?

Совсем близко от себя увидел Андрей Иванович острые бешенные Шмитовы глаза.

— Нед-дурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.

— «Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь правда»... — застонал Андрей Иванович. И стоял. И молчал.

— На этот раз... Пош-шли вон!

Шмит захлопнул за собой калитку.

...«Сейчас же — сейчас же... Придти и пулю в лоб...»

Сейчас же...» — побежал Андрей Иванович домой. Лицо горело, как от пощечин.

Не мог теперь сказать: отпирал Гусляйкин или нет. Но только сидел Андрей Иванович за столом и глядел на револьвер, под лампой, такой противно-блестящий.

— «Но ведь никто же абсолютно не видел? Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется, одна — с ним, ведь он, может, ее бьет, и если меня не будет...»

Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, так в сапогах прямо и бухнулся на постель.

— О, проклятый — о, проклятый — трус...»

... Слизкое, туманно-серое утро. Гусляйкин нещадно расталкивал Андрея Ивановича:

— Ваш-бродие, покупочки из города привезли.

— Что, что такое?.. Какие покупочки?

— Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказывали. Ведь завтра-то, чать, Рождество Христово...

Залеченные сном мысли проснулись, запыли.

Рождество... Самый любимый праздник. Яркие огни, бал, чей-то милый надушенный платочек, украденный и хранившийся под подушкой... Все было, все кончилось, а теперь...

Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, доходило все глухо, смутно, туманно.

Очень странно было Андрею Ивановичу надеть на первый день мундир и идти с визитами. Но заведенный каким-то заводом пошел. Поздравляя, целовал руки, даже смеялся. Но сам слышал свой смех...

Где-то, — может у Нестеровых, может у Иваненко, может у Косинских — был спор о поросенке: как его на стол подавать? Бумажной бахромой надо его украшать, или нет? Окорок, конечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики Андрей Ивановичево мнение («Вы ведь недавно из России — это очень важно»),

— тут Андрей Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь. Я?»»

В каком-то доме, кажется у Нечёсов, из столовой были видны через открытые двери две супружеских, рядом стоящих, брюхатых кровати. Глядя туда и дошивая, может, шпату, может, десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно спросил:

— А что теперь у Шмитов?

— Чудак, да ведь у вас такое сокровище — Гуслийкин. У него спросите, — он в кухне у Шмитов день и ночь, — посоветовала кругленькая капитанша.

От коньяку, от водки, от налегшей плиты печи — мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелей.

Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гуслийкин стоя у притолоки. Потом вспомнилось: сокровище. Загорелся Андрей Иваныч и спросил не глядя:

— А у капитана Шмита давно был?

— Нынче был, как же. Там дела, там дела, и-и-и... Комедия!

Нельзя было слушать Андрею Иванычу и еще больше нельзя слушать. Весь похлял от стыда — и слушал. И говорил:

— А дальше? Ну, а потом что?

А когда кончил Гуслийкин, — Андрей Иваныч, шатаясь, подошел к нему.

— К-как ты мне смел такие... такие вещи рассказывать, как ты смел?

— Ваш-бродь, да вы сами ведь...

— ...Как ты смел... про нее, про не-е, е-сволочь?

Хлясь, — так и ушла Андрей-Иванычева рука в бланманже какое-то в кисельное: такие были у Гуслийкина жидкие щеки. Так это противно: как будто, вот, вымазана теперь вся рука.

15. НЕЧИСТАЯ СИЛА

Января двадцать пятого — мученицы Фелицаты память, генеральши Фелицаты Африкаповны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер званый. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какою-нибудь. То поднесет перед обедом всем офицерам по букету роз: «Пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выводил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны: «Ах какой вы милый, мерси, какой запахах». . . Разок шохнули, другой, да как зачихают все: розы-то табаком шохательным позасынаны. А то, вот, на последнем обеде в прошлом, стало быть, году такая была потеха. Обед состригал генерал — просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда, янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху, и засыпан китайской ланшой: и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить не в мочь, — повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диковину показать. И когда этак верст с пяток проехали, скомандовал генерал: стой! — и объявил всем своим верноподанным:

— А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!

Ну-у. . . И что тут только же было!

Ясно, и в этом году что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по сию пору, но не может того быть, чтобы к Фелицатину дню не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечёса, за вечным отпуском командира — старший, получил генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы — поле утрамбовывать. Всякие эти занятия там да стрельбы, конеч-

но, похерили: этого добра — каждый день, не оберёшься, а генеральщины-то именины раз в году чай, бывают.

И рассыпались солдатки по всему полю за пороховым погребом, — ровню муравьи серые. Еще слава-те, Господи, туман потянул да оттепело, а то бы землю никаким каком не угрызть. Оно правда, грязновато, рассусолилась глина, мажется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут уж ничего не попишешь: служба. И роются, роются, тачки таскают, копошатся серые, смиренные, вдвое согнутые. Не то на поле бега будут, не то еще что: до Филицатина дня — ни одной живой душе не известен генеральский секрет...

В сторонке, на чураке, сидел Тихмень, отвернувшись: надзирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чумички-солдаты и смиренная их точнотажность, и туман — желтый гад полуживой, и пуще всего, сам он Тихмень.

В самом деле: какой-то сопливец Петяшка, — и вдруг все идет к чорту. Раньше было все так ясно: были «вещи в себе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были отражения «вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвластные. И вот — не угодно ли? Прямо какая-то нечистая сила вселилась, ей-Богу.

... Церковь, солнечный лучь, Тихменя кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает — любопытно и жутко: в одно время и своим кличет, бабым голосом, и чужим, собачьим.

— ... Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта самая, и паршивый щенок Петяшка?

А собачий голос — а нечистая сила в Тихмене скулит: — «Петяшка... Ах, как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей же Петяшка, в самом деле?»

— Здравствуй, Тихмень! О чем замечтался?

Вздروгнули оба Тихменя, — настоящий и собачий, — сомкнулись в одного, один этот вскочил.

Перед Тихменем, в коробушке, в таратайке казенной, сидела капитанша Нечёса. Нынче в первый раз она встала с постели и первый ее выезд был к генеральше, или, соб-

ственно, — к Агнии. Душа горела — все дотошно разведать, как и что было у генерала с Маруськой этой Шмитовой. «Ах, слава Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса на горошине...»

Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И сейчас же на чурাকে опять двое Тихменей, затолкались, заспорили.

Собачий Тихмень молвил:

— А капитан-то Нечёса остался ведь один теперь, да-с...

И с присущим ему собачим нюхом отыскал какую-то, человеку невидную, тропинку, побежал — и закрутил, и зарыскал по ней Долго кружил и вдруг — стоп, нашел вынюхал:

— Олух же, олух же я! Ну, конечно, пойти и спросить самого капитана. Уж он то знает, чей Петяшка... Ему — да не знать?

Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного.

— Ну как у нас дела?

В строю разния; тут в земляном деле Аржаной — козырь и мастак, и за всех ответчик.

— Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили. Рази там каких-нить штук-человек десять осталось. Штук-человек десять? Ну, ладно! Тихмень махнул рукой:

— Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.

Торопливо Тихмень вбежал в Нечёсовскую столовую. Слава Богу, капитан дома.

Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечёса очень важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони: годится.

— На вот, во здравие ней. Ну что там, что там...

Мнил себя Нечёса очень недурным лекарем. Да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру, или, к доктору: те-то уж больно мудрены.

Одно горе: уже лет пять утянул кто-то из пациентов у Нечёсы «Школу здоровья», и остался у капитана толь-

ко «Домашний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать. И ей-Богу, не хуже выходило: что ж, правда, велика ли разница? Устройство одно, что у человека, что у скотины.

После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал он Тихменю ребра:

— Ну, что, брат-Пушкин?

— Да вот, хотел, было, я спросить...

— Нет, брат, ты сначала садись, выней, а там — увидим.

Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом, издалека стал под'езжать: то, да се, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить... Но капитан Тихменю живо окорот сделал:

— За обедом? О высоких материях? Да ты снятил? Видать, в медицине ни бельмеса не понимаешь. Нешто можно — такие разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желудок уходила...

Ах, ты Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыги на задних лапах — денщик Яшка Ломайлов.

Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом, фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюшка:

— Дядь, а дядь, у тебя печенки есть? А?

— Печё-печенки, — залился капитан.

Тихмень морщился.

— Ну, есть, а тебе на что?

— А мы нынче за обедом печонку седали, а мы за обедом...

— А мы за обедом... а мы за обедом... — запрыгали, захопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними, — всё равно, чьи они: капитановы, ад'ютантовы, Молочковы...

Потом все вместе играли в кулочки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята — доктора, Яшка Ломай-

лов — фершал, а Тихмень — пациент... А потом уж пора и спать.

Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.

16. ПРУЖИНКА

Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на это поймался. Сейчас же закинул: иду!

Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничек. Положил на подзеркальник, позвал Марусю:

— Пожалуйста, взгляди вот — чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нету.

Узенькая — еще уже, чем была, с двумя морщинками похороненными по углам губ, подошла Маруся.

— Покажи-ка? Да, он... да, пожалуй, еще годится...

И, все еще вращая воротничек в руке, глаз не спуская с воротничка сказал тихо:

— О, если бы не жить... Позволь умереть... позволь мне, Шмит!

Да, это она, Маруся: наутника — и смерть, воротничек — и не жить.

— Умереть? — усмехнулся Шмит. — Умереть никогда не трудно, — вот — убить...

Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел — земли не чуял: так напряжены были в нем все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.

Неприятно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, неприятно-сияющий генеральский Ларька.

— Да их превосходительство и не думали, и не приезжали, вот ей-Боженьку же, провалиться мне!

Шмит стоял упрugo, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.

— Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите.

И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.

— «Если открывает — значит нету, правда... Вломиться — и опять остаться в дураках?»

Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прынул и глаза зажмурил.

Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побегал в казармы — ночему, и сам того не знал.

В казарме — пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, — стряпали что-то к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно сложился, — серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо — все, как сукно солдатское.

Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, — глянул вверх: на одной петельке качалась таблица отдания чести.

Шмит рванул таблицу:

— Эт-то что такое? Ты у меня...

И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную ту пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся как от удара.

Но Шмит был уж далеко: этот серый — не то. Шмит бежал туда, где работали — к пороховому, где было много.

Только трех солдатиков нынче, вот, и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба — часового и красильщика, который патронные ящики красил.

А красил ящики не какой-нибудь дуrolом, какой не знает и грунтолки положить, — красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-то, а даже когда спектакль ставили о запрошлом году: «Царь Максимилян и его непокорный сын Адольфа»; так даже для

спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке первый специалист: как он, — страдательную сыграть никто так не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.

И, вот, стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящички-то зеленым помазать — это еще дело годит. А пока что, зеленую и подгрунтовкой белой, расписывал он на ящичке вид: речка, как есть живая ихняя Мамурка-речка, а над речкой — вётлы, а над ве...

— А-ах! — как гром разразила его сверху Шмитова рука.

— Т-ты красшь? Ты... красшь? Я... тебе... что... велел?

И еще что-то кричал Шмит — может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова, — кричал и бил прислонившегося к зарядному ящичку Муравья. Бил — и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержимо, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать — неудержимо.

Со страху ли, или уж больно большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попритчилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был... нужен был — задыхался Шмит — нужен был крик, стон.

Шмит вытащил из кармана револьвер и только тут Муравей заорал благим матом.

На поле за пороховым погребом услышали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Половец: он дежурил сегодня с солдатами.

Шмит поглядел на Андрей Ивановича, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавшие солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.

Солдаты стояли в кругу вокруг лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вы-

лез, крихтя, из середины неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью.

— Э-эх, серденный, как он тебя, знычь, ловко оборудовал.

Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.

— «Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый...» — И задумался Андрей Иваныч.

17. КЛУБ ЛАНЦЕПУПОВ

Все уж это знали, что Шмит совсем, как бешеный, бегаёт. И когда неожиданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде притихли, прижухли, даром, что навеселе были.

— Ну, что ж вы, господа? О чем? — Шмит оперся о стол, с тяжелой усмешкой.

Все сидели, а он стоял: вот это, будто, самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил.

— Мы... мы ане-анекдот...

— Ка-акой анекдот?

... «Какой? Как парочню, вылетели все из головы: какой же?» А вдруг он шухом учует, что мы говорили о нем и...

Выручил капитан Нечёса. Поковырял сизый свой нос и сказал:

— А мы... это, да, армянский — знаешь. Один ходит, другой ходит... двенадцатый ходить, что такой?

Шмит почти улыбулся:

— А-а, двенадцатый ходит! Стало быть капитан-Нечёсовы дети...

Все подхватили, заготовали облегченно:

— Что ж, он даже и ничего вовсе, даже и шутит...

Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:

— Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакое похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланценуповский клубик, например? Чуть ли не с год ведь не были?

Шмит глядел, искал: «Поедут — не поедут? А вдруг — поедут, и мы там где нибудь встретим Аза... Азанчиева? Вдруг, — ведь может же...»

Публика ожималась.

— Теперь? Да ведь ô полночь уж... С ума спятить! — всю ночь переть — туда ехать... Ветёр, качать будет...

— Ну-с? Как же? — усмешкой хлеснул Шмит Андрея Иваныча, уперся в широкий Андрей-Иванычев лоб.

Андрей Иваныч вышел вперед и сказал, — хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланценупов? — сказал:

— Я еду.

Лиха беда начать, а там уж пойдёт. Загадели: и я, и я! Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечёса.

На воде был такой холодина, что все языки подвязались. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.

Под'езжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво, выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розово-синий на горе город.

Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.

На звонок дверь, как у Кащея во дворце, сама растворилась: людей не видеть было. Шопотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычайного, очень длинную: коридор, а не комната. У стены — узкий, весь в

бутылках, стол. А насупротив, где окна, — ничего: пусто, гладко.

Шмит налил полнехонек стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.

— Ну что ж, господа, жребий?

Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочкова мигом полиняла.

— Я бросаю! — крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой.

На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора. Стали у окна попарно — справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза.

— «Но зачем же они...» — поднял быстро голову Андрей Иванович: ничего не понимал.

На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили в себя спирт. Сердце — в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.

Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или...

Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога — и четыре нестройных, взброд, выстрела.

Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся, было, за повеньким золотым, но поднять должно быть не успел.

Уж что было дальше, не видал Андрей Иванович. От почки ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел.

Очнулся: совсем близко над ним Шмитовы железносерые глаза.

— Разве мыслимо? — Шмит встал с колен, выпрямился.

— Офицер, как институтка, на кровь не может смотреть! Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать...

Андрей Иванович медленно поднимался с полу — шатнулся — схватился за Тихменя.

Тихмень взял его под руку, повел к выходу:

— Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите...

Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.

Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх.

— Скверно. Все скверно. Так скверно! — сказал он скрипуче. Махнул рукой, и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, желтый туман.

— Хоть бы война какая, что ли... — буркнул под нос Тихмень.

— Хороши мы будем на войне!

Хотел это только сказать — или сказал — и сам того не знал Андрей Иванович: в голове колотилось, ключьями неслось стремглав, путалось.

18. АЛЪЯНС

Пост великий, мокрет, теплынь. Чвакает под ногами грязь, — так чвакает, что вот-вот человека проглотит.

И глотает. Нету уже сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох война бы, что ли... Пожар бы, запой бы уж, что ли...»

Чвакает грязь. Гиблые бродят люди по косе, уходящей в океан. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки-корабли. Ох, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С великого

поста ведь всегда заходить начинают. Вот в прошлом году уж целых два в феврале зашли, — заверни, миленький, ах, заверни. . . Нет. Ну, так, может быть — завтра?

И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег, — свалились французы.

В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланценугов, глядели в даль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее — и уж вот он, весь виден — крейсер, белый и ладный как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутёк пустился. А Молочко остался, загарцовал, выиграл: он первым все узнает, он первым — встретит, он первым — расскажет!

— Я счастлив приветствовать вас на далекой, хотя и русской. . . то есть, на русской, хотя и далекой земле. . .

Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит. Не зря ведь у него французенка-гувернантка была. . . Французский лейтенант, которому сказана была Молочкова речь, не улыбнулся — сдержался:

— Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост. . .

— Господи, да я. . . Я побегу, я — в момент, — и помчался Молочко.

Но к кому сунутся-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, за старшего Нечёса остался. А Нечёса очень невразумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить. Беда, да и только.

— Капитан Нечёса, капитан. . . Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть. . .

— Хрр. . . пфф. . . хрр. . . пфф. . . Ко-кого?

— Адмирал, говорю, французский. . .

— К ч-чортовой матери адмирала, спать хочу. Хрр. . . пфф. . .

Молочко стянул с капитана накинутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:

— Ломайлов, квасу капитану!

Но Ломайлова нету: ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.

Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:

— Францу-узы? Да что они, спятили? Зачем?

— Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами альянс... Ей-Богу, нагорит!

— О, Господи, откуда? за что? Солдаты, солдаты-то каковы с работами этими генеральскими? Молочко, гони туда, к пороховому, в сей секунд! Всех, чтобы дьяволов, в лес угнали! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!

И вот, капитан Нечёса стоит, наконец, на пристани, распахнута шинель, на мундире все регалии.

Главная спица в колеснице—Молочко—вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский не первой уж молодости, а тонкий, да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает.

— А какие у вас порции солдатам. Так, так. А лошадям. Сколько рот. А сколько прислуги на орудие? А-а, так.

Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибрать, почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух.

— «Ну, теперь их только к пороховому — и все, и слава Богу...»

И оставался уж один до порохового квартал, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне. Кончил — и шел себе до дому с метлой, в отрпнях — лохматая, черная образина.

Адмирал любопытно вскинул пенсне.

— А-а... А это кто же? — и повернулся к Молочке за ответом.

Молочко, утопая, взглядом молил Нечёсу, Нечеса свирепо-символически ворочал глазами.

— Это... э-это ланцепун, ваше превосходительство!— вякнул Молочко вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили перед тем с Тихменем о ланцепунах, ну и...

— Lap-se-roure? Это... что ж это значит?

— Это... ме-местный инородец, ваше превосходительство!

Адмирал очень заинтересовался:

— Во-от как? Я и не слышал такого наименования до сих пор, а этнографией очень интересуюсь....

— Недавно только открыты, ваше превосходительство! Генерал записал в книжку:

— Lan - se - roure? Очень интересно, очень!.. Я сделаю доклад в Географическом Обществе. Непременно...

Нечёса задыхался от нетерпения узнать, что такое вышло и что за разговор странный — о ланцепунах.

А адмирал — час от часу не легче! — уж новую загадку загнул Молочке.

— Но... почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?

— О-о-они, ваше превосходительство, в... в лесу.

— В лесу? Все? Гм, зачем же?

— Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланцепуны эти самые... То есть они все отправлены, наши солдаты, то есть, на усмирение, значит, ланцепунов...

— Ах, так это, значит — не совсем еще покоренный народец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу?

— «Сюрпризы! Какие, вот, от тебя еще будут сюрпризы? Заврюсь, запутаюсь, погублю...» — Молочку уж цыганский пот от страха прошибал.

Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь — и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо, очень интересно». Ведь не каждый это день случается — открывать новые племена.

19. МУЧЕНИКИ

И откуда только прыть взялась у такого человека губошлепого, как капитан Нечёса? Надо быть — с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечёса устроить в собрании французам пир на весь мир.

Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла писать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином, денщики бросили все дела — наворачивали офицерам папилотки, а Ларька генеральский разносил приглашения.

Увидала Маруся, как Ларька в калитку к ним вкатился, так и заметалась, загорелась, забила. Как на ладоши, вот, встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихомайка, семь крестов, они с Андрей Ивановичем вдвоем, и Ларька подает письмо генеральское.

— Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!

В Шмите сжалась пружина, затомила, заняла, запротестовала мук.

Шмит усмехнулся:

— Не мочь — надо раньше было. А теперь уж моги, — нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню:

— Эй, кто там, давай-ка сюда!

Ларькино имя все же не смог Шмит называть. Ларька вкатился медно-сияющий, подал билетец, рассказывал:

— И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!

Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдавил даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился:

— А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы водки-то принимают, ацц как? А то ведь, что ж мы с ними...

И даже засмеялся Шмит. Засмеялся — и звенит, все выше, на самых высоких верхах звенит, не сорваться бы...

А Маруся — у окна к Ларьке спиной, — уйти не посмела, — стоит и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит — и смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше...

Одиг. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним, протянула руки:

— Шмит, но ведь я же для тебя... для тебя то сделала. Ведь мне же было ужасно, отвратительно! — ведь ты веришь?

Шмита светло судорогой-улыбкой:

— И в сотый раз скажу: значит — было не достаточно

мерзко, не достаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне...

И не знает Маруся, что сделать, чтобы он... Туго заплетены пальцы... Господи, что ж сделать, если у нее — любовь, а у него — ум, и ничего не скажешь, не придумаешь! Но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит...

Встала Маруся с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы. Но не так, как раньше: не Бука лохматый мерещился, не Полодушка — веселый сумасшедший, не Враг — прыгучий нечистый, — мерещилось Шмитово чужое, непонятное лицо.

Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стенную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы.

Потушила, пошла в спальню. «У Шмита — все носки в дырках, а я целый месяц все только собираюсь... Не распускаться, нельзя распускаться».

Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: все набегало на них, застило, работы было не видеть. Было уж поздно, — о полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула ящик, укладывала, на комодке трепетала свеча.

Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и мук искала.

Бросил камень Марусе:

— Ложись, пора.

Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке — совсем, как дитёнок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только две эти старушечьих морщинки по углам губ...

Подшел Шмит, дышал, как запаленный зверь.

Маруся, с закрытыми глазами лежа, сказала:

— Шмит, но ведь... Шмит... ты любишь ведь? Ты ведь это хочешь — не так, не просто, как...

— Любить? Я любил...

Шмит задóхнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я умираю! Марусенька, родная, спаси!» Но вслух сказал он:
— Но ведь ты продолжаешь верить, что меня любишь, хм! Ну и довольно с тебя. А я... просто хочу.

— «Нет, это не так, притворяется... Было бы ужасно... Шмит, не надо, не надо же, ради-ради...»

Но со Шмитом совладеть ей разве? Измял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно — сладко было терзать ее, дитёнка худенького, милого, ее — такую чистую, такую виноватую, такую любимую...»

Так унизительно, так больно было Марусе, что последний, самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох: поняла на секунду Шмитову великую злобу, сестру великой...»

Но Шмит уж уходил. Ушел в гостиную — там спать. А может и не спать, а ходить всю ночь лапролет и глядеть в синие, совиноголазые окна.

Лежала Маруся одна, в тьме, в пустоте. Исходила слезами неисходными.

— «Он сказал: вы великая, — вспоминала Андрея Иваныча. — Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не сказал бы...»

Как знать.

20. ПИР НА ВЕСЬ МИР

Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гармошкой. Эх, музыка, вот, и подкузмила малость, а то бы — совсем хорошо. На стенах — ветки зеленые, флажки трепыхаются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розово-сияющий распорядитель Молочко?

Но Тихмень на все глядел скептически — был он еще совершенно трезв:

— «Все это, конечно, ложь. Но это блестит, да А так как единственная истина — смерть, и так как я еще живу, то и надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Молочки, и надо быть пустоголовым... Но практически? Ах, я сегодня что-то путаю...»

Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:

— Туш, туш! «Двуглавый Орел!» Идут, идут...

Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы — все затянутые, падушенные, поджарые, ладные во всех статьях.

Тихмень сперва рот разинул вместе со всеми на минутку. Потом выделил, обмыслил: французы и наши. Знакомые залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные платья дам...

— «Да... И вот если ложь окажется еще один раз лжива... Ну да, эи квадрат, минус на минус — плюс... Практически, следовательно... Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь...»

— Слушайте-ка, Половец, — дернул Тихмень Андрея Иваныча, — пойдемте пока что по одной тюкнем: тошнехонько что-й-то...

Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнул по одной. В буфетной голошил коньяк Нечёса: для храбрости, как-никак, он ведь за главного.

— Шмит-то нынче веселый какой, у-у, — пробурчал Нечёса сквозь мокрые усы.

— Как, разве тут Шмит? — Андрей Иваныч кинулся обратно в зал.

Затомила в сердце горько-сладкая томь; не Шмита искал он, нет. Проилывали мимо французы — в легчайшем пухе вальса, мелькнул потный и красный от счастья Молочко.

— «Наврали Нечёса — и к чему? Нет ее. Никого нету... И вдруг — громкий звенящий железом смех Шмита.

Кинулся туда. Вихрились, кружились, толкались пары: казалось не добратся.

Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит поглядел сквозь Андрея Ивановича — сквозь пустой стакан, выпитый весь, до дна.

У Андрея Ивановича глаза заволокло туманом, он быстро повернулся от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал, — ах если бы было можно не отпускать! «Но почему же дрожит, да, конечно, — дрожит у ней рука?»

По-французски через пень-колоду понимал Андрей Иванович, вслушался.

— ... Жаль, нет генерала, — говорил Шмит, — удивительнейший человек. Вот моя жена — большая почитательница генерала. Я положительно ревную. В одно прекрасное время она может...

Французы улыбались. Шмитов голос звенел и стегал. Маруся стала вся — как плакучая березка — долу клониться. И упала бы, может, но учуял Андрей Иванович — один он и увидел — поддержал Марусю за талию.

— Вальс, — шепнул он, не слышал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмита — проклятого, подальше. О, до чего ж он...»

— Как он мучит меня... Андрей Иванович, если б вы знали! Вот эти три дня, и сегодня. И три ночи перед балом...

Показалось Андрею Ивановичу, говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки похоронные около губ, — о, эти морщинки...

Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не открывала от пляшущего, злого, пламенного языка: оторвать, отвести глаза — и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет...

В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбалась — ведь на них глядел Шмит — улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:

— Убейте его, убейте Шмита. Чем такой... пусть лучше мертвый, я не могу...

— Убить? Вы? — поглядел Андрей Иваныч, не веря, в ужасе.

Да, она. Паутинка — и смерть. Вальс — и убейте...

Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечёсой, крутился уругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза, усмеялся.

Андрей Иваныч ответил Марусе.

— Хорошо.

И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил—ах, до смерти бы закружиться...

Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами, за альянес-то, да и не выпить? О, Господи, это бы уж — последнее дело!

Пили и французы, да как-то по хитрому: пили, — а душой, вот, не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. То ли дело — наши: на совесть, порусски, нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, развеселые, мутноглазые.

Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудобно высокому быть. Маленькому, если и качнуться — оно ничего. А высокий — колокольня — выгибается, вот вот ухнетя, страшно глядеть.

Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал себя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда, пошатываясь, шел мимо Нечёса, Тихмень решительно ухватил его за полу. «Нет уж, теперь баста, теперь я спрошу...»

— Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа самого: чей Петяшка сын?.. С тоски — понимаешь с то-ски — помираю: мой Петяшка или, вот, не мой...

Капитан был, нарезавшись здорово, однако, что-то чуть неладно — понял:

— Да ты... да ты брат, это про что, а?

— Гол-лубчик, скажи-и! — Тихмень тихо и горько заплакал. — Последняя ты у меня надежда, хм... хм! — хлюпал Тихмень. — Я Катюшу спросил, она не знает... Господи,

что ж мне теперь де-елать?.. Голубчик, скажи, ты знаешь ведь...

Тупо глядел Нечёса на качавшийся у самых его глаз Тихменев нос, с слезинкой на кончике, — так бы, вот, взял и поправил.

Влекомый вышей силой, Нечёса крепко взял двумя пальцами Тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И столь это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой.

И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то, Тихмень-то!» — понял и рванулся. Кругом все хватились за животы.

Тихмень обвел их остолбенелым взглядом, на ком то остановился — это был Молочко, — и спросил:

— Ты, в-вот, ты видал? Он меня... он водил меня за нос?

Лопнули со смеха. Молочко еле выговорил:

— Ну, брат, кто кого водил за нос, это, в конце концов, неизвестно!

Все кругом ахнули. Теперь нужно было Тихменю что-то сделать. Нехотя, исполняя обязанность полез Тихмень на капитана.

И тут совсем уж несуразное пошло: Нечёса брюхом лежал на Тихмене и молотил его, куда понало. Кто растаскивал лежащих, а кто тащил этих, которые растаскивали: дайте, мол, им додраться, не мешайте. И если бы не капитанша Нечёса, Бог знает, чем бы катавасия кончилась.

Капитанша подбежала, крикнула, топнула:

— Ты, чурбан, дурак! Сейчас слезь!

Десять лет этого голоса капитан слушался: моментально слез. Лохматый, встрепанный, окопфуженный — додраться не дали — стоял и очесывался.

Французы собрались в углу, дивились и думали: уйти или нет? И уйти нельзя: альянс. И остаться неловко: видимо, у русских пошло дело домашнее.

- Все-таки... До чего ж они все... ланцепуны какие-то, — поднял вверх брови адмирал. — Из-за чего это у них? Подозвал Молочко. Молочко пытался объяснить:
- Из-за сына... Чей сын, ваше превосходительство...
- Ничего не понимаю, — повел адмирал плечами.

21. ОГОНЕК В ТЕМИ

В собрании — из зала в коридор окошко было прорезано. Зачем, на какой предмет, неизвестно. Так, вот, просто во всех домах тут делали — ну, и в собрании, значит. За то денщикам теперь — полное удовольствие: сблизь у окна и глядят — не наглядятся.

— У-ух, и дошлый же народ французы эти самые! — самоварно сиял генеральский Ларька. — Это, брат, тебе, не епонец, не манза какая-нибудь. Епонец-то пальцем делан, потому...

Не досказал Ларька: перед господином Тихменем надо было вытянуться.

Измятый весь, в мокром, в пыли, — ступил Тихмень в коридор — и стал, заблудился: куда идти?

Подумал, свернул влево и по скрипучим ступенькам полез наверх, на каланчу.

Яшка Ломайлов неодобрительно глядел ему влед.

— И куды, например, прет, и куды прет? Ну, какого ему рожна там надо? Ох, Ларька, скажу я тебе, и блажные же господа у нас! Ды блажа-ат, ды блажа-ат, и всяк-то по своему... И чего им, кубыть, еще надо: тошка есть, хлеб соль есть...

Ларька фыркнул:

— Дура: хлеб-соль! Это тебе, вот, животине, хлеба-соли довольно, а которые господа настоящие, не какие-нить сказуемые, так они, брт, мечту в себе держут, да...

— Я бы, например, женил бы господина Тихменя, вот это бы так! — медленным языком ворочал Ломайлов. — Ребяенок бы ему с полдюжники, вот бы мечтов-то этих самых, как ветром бы сдуло. . .

Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был домик Нечёсов. «Что-то теперь Костенька? Уснул без меня, либо нет?»

Темь; мгла холодная за окном. Где-то не очень подалеку вопили благим матом: карау-ул! карау-ул! Солдаты очесываясь, зевая равнодушно, слушали: дело обнаковенное, привышное.

Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий, непрочный, длинный.

— Ну и ха-ра-шо, и ха-ра-шо, и шут с вами, и уйду, и уйду. . . За нос, хм! Вам-то это хаханьки, а мне-то. . .

Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в темноте опять кричали караул, громко и жалостно.

— Ка-ра-ул, ага, караул? А я думаешь, — не караул? А мы, думаешь, не кричим? А кто слышит, ну, кто? Ну, так и кричи, и кричи. . .

Но все таки высунулся Тихмень, вставил голову в черное, мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи виден был веселый огонек на бухте: крейсер, должно быть, ихний. . .

Был этот огонек в сплошной черняти опорой какой-то Тихменю, давал жить глазам, без него нельзя бы. Маленький, веселый, ясноглазый огонек.

— Петяшка, Петенька мой, Петяшка. . .

И вдруг — мигнул огонек и пропал. Может, крейсер повернулся другим боком, а может, и еще что.

Пропал, и приступила темь необоримая.

— Пе-тяшка, Петяшка мой! Нечёса — последний. . . Никто теперь не знает, никто не скажет. . . Ой-ё-е-е-ей!

Тихмень горестно замотал головой и хлопнул. Потекли пьяные слезы, а какие-же слезы горячее пьяных?

Щекой он приложился к подоконнику: подоконник — мокрый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость. Тихмень вспомнил свой разговор с кем-то:

— Всякий, имеющий детей — олух, дурак, карась, пойманный на удочку. Это я, я... Я говорил. И я вот плачу о Петяшке. Теперь уж не узнать никогда чей... Ой-ё-е-ей!

Никогда — так крышкой и прихлопнуло пьяного, горького Тихменя. Заполонила темь необоримая. Огонек погас.

— Петяшка-а! Петя-шень-ка-а! — Тихмень хлюпнул, захлебывался и медленно вылезал на подоконник.

Подоконник — страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь так.

Вылезал все больше, — ах, конца этому нету: ведь он такой длинный. Пока-то это вылез, перевесился, пока-то это с каланчи торчмя головой бухнулся в тьму.

Может и закричал, ничего не слышали денщики. Они уж думать позабыли о Тихмене, блаженном: куда-а там Тихмень, когда французы сейчас выходят. Ох, да и молодцы же народ, хоть и жвытки они больно....

Веселой гурьбой, вполъяна, выходили французы, скользили на ступеньках: «И смешные же русские эти... ланце-пуны... Но есть в них, есть в них что-то такое...»

А за французами ползли и хозяева. Коли французы вполъяна, так хозяевам и сам Бог велел в риз положении быть: кто еще шел — перила обнимал, а кто уж и на карачках...

Тихменя нашли только утром. Перетащили к Нечёсам: у них жил живой — у них, значит, и мертвый. И лежал он покойно в зальце на столе. Лицо белым платком покрыто: расшиблено уж очень.

Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа:

— Уй-ди, уй-ди! Я его люблю, я его любила...

— Ты, матушка, всех любила, по доброте сердечной. Уймись, не реви, будет!

— И подумать... Я может, я ви-но-ва-та-а... Господи, да коли б я, правда, знала, чей Петяшка-то? Господи, кабы знать-то, а-а-а! соврать бы ему было!

Ломайлов отгонял восьмерых ребят от дверей: так и липли к дверям, так в щель и совали нос, ох, и любопытный народец!

— Яшка, Яшутничек, а скажи: а дяде рази уж не больно! А как же? А ведь ушибся, а не больно?

— Дурачки-и, помер ведь он: знамо не больно.

Старшенькая девочка, Варюшка, от радости так и за-сигала:

— Ту-а? Что? Я говорила — не больно?—не больно? Я говорила? А ты не верил? Ту-а, что?

Уж так ей лестно брату нос наставить!

22. ГАЛЧЕНОК

Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался, все боялся приехать домой. И Шмит лютовал по-прежнему, весь мукой своей пропитался, во всякой мелочишке это чувлось.

Ну, вот, выдумал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. Это Непротошного-то! Да он все и русские слова позабудет как перед Шмитом стоит, а тут: французский. Все французы эти поганые накуралесили: Тихменя на тот свет отравили, а Шмиту в сумасшедшую башку взбрела этакая, вот, штука...

Черноусый, черноглазый, молодец Непротошнов, а глаза — рыбы, стоит перед Шмитом и трясется:

— Н-не могу знать, ваше-скородь, п-позабыл...

— Я тебе сколько раз это слово вбивал. Ну, как «позабыл», а?

Молчание. Слышно: у Непротошнова коленки стучат друг об дружку.

— Ну-у?

— Жуб... Жубелье, ваше скородь...

— У-у и-немырь. К завтраму, чтоб на зубок знал. Пошел!

Сидит Непротошинов на кухне, повторяет проклятые бурсманские слова, в голове жернова стучат, путается, дрожит. Слышит чьи-то шаги — и вскакивает, как заводной, и стоит — аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не Шмит пришел, а пришла барыня, Марья Владимировна.

— Ну, что ты, Непротошинов, а? Ну, что ты, что ты?

И гладит его по стриженной солдатской голове. Непротошинов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости не хватает, так при хотеньи одним и остается.

— Барыня милая... Барыня милая... Ведь я все — ведь я все-всешеньки... Не слепой я...

Маруся вернулась в столовую. Глаза у нее горели, что-то сказать. Но только взглянула на Шмита — разбилась об его сталь. Опустила глаза, покорная. Забыла все гневные слова.

Шмит сидел не читая, так. Он никогда не читает теперь, не может. Сидит с папирсой, мучительно зацепился глазами за одну точку, — вот за граненую подвеску на лампе. И так трудно неизмеримо на Марусю взглянуть.

— Ну? О Непротошинове, конечно?—усмехнулся Шмит.

Подшел к Марусе вплотную.

— Как я тебя...

И замолк. Только стиснул больно ей руки повыше локтей: завтра будут здесь синяки.

На худеньком ребячьем теле у Маруси много теперь цветет синяков от Шмитовых злых ласк... Все неистовей, все жесточе с ней Шмит. И всегда одно и то же: плачет, умирает, бьется она в кольце Шмитовых рук. А он — пьет сладость ее умираний, ее слез, своей гибели. Нельзя, некуда спастись ей от Шмита, и хуже всего: не хочется спастись. Вот сказала наемщи на балу Андрею Иванычу — сорвалось же такое: «убейте Шмита». И не знает покою теперь: а вдруг?

Не забыл Андрей Иваныч тех Марусиных слов, каждый вечер вспоминал их. Каждый вечер — один и тот же мучительный круг: замыкаемый Шмитом. Если-б Шмит не мучил

Марусю; если-б Шмит не захватил его тогда у замерзшего окна; если-б Шмит на балу не...

Главное, тогда не было бы вот этого, что уж стало привычно-нужным: каждый вечер перед Андреем Ивановичем не стоял бы Гусляйкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей физиономией, не рассказывал бы...

— «Но ведь, Господи, не такой уж я был пропащий, — думал ночью Андрей Иванович, — не такой уж... Как же это я?»

И опять: Шмит, Шмит, Шмит... «Убить. Она не шутила тогда, глаза были темные, не шутила».

И вот как-то вдруг, ни с того, ни с сего Андрей Иванович решил: нынче. Должно-быть, потому, что было солнце, надоедно-веселая капель, улыбочивая, голубая вода. В такой день, — ничего не страшно: очень просто, как кошелек, сунул Андрей Иванович револьвер в карман; очень просто, будто в гости пришел, дернул Шмитовский звонок.

Загремел засов, калитку отпер Непротошнов. Шмит стоял посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках.

— А-а, по-ру-чик Половец, муз-зыкант! Д-давненько — ... Шмит не двинулся, как стоял, так и стоял, тяжкий, высокий.

— «Непротошнов... При нем—нельзя», юркнула мысль, и Андрей Иванович повернулся к Непротошнову:

— Барыня дома?

Непротошнов заметался, забился под Шмитовым взглядом: — нужно было обязательно ответить по-французски, а слова, конечно, сразу все забылись.

— Жуб... Жубелье, — пробормотал Непротошнов.

Шмит засмеялся, зазвенел железом. Крикнул:

— Пошел, скажи барыне, к ним вот, пришли, да-с, гости незваные...

Андрея Ивановича удержал взглядом на месте:

— Что глядите? Револьвер не нравится? Не бойтесь! Пока только галченка вот этого хочу пришибить, чтоб под окном не кричал...

Только теперь увидал Андрей Иваныч: под тачкой присел, прижукнул галченка. Крылья до земли опущены, летать не умеет, не может еще малец.

Щелкнул выстрел. Галченка надсаженно, хрипло закаркал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай. Шмит перекосоурил рот: должно быть — улыбка. Прицелился снова: ему нужно было убить, нужно.

Быстрыми, большими шагами Андрей Иваныч подбежал к сараю, стал лицом к Шмиту, к галченку спиной:

— Я... я не позволю больше стрелять! Как не стыдно! Это издевательство!

Шмитовы железно-серые глаза сузились в лезвие:

— Поручик Половец. Если вы сию же секунду не сойдете с дороги, я буду стрелять в вас. Мне все равно.

У Андрея Иваныча радостно-тоскливо заколотилось сердце. «Маруся, посмотри же, посмотри... Ведь я это не за галченка». . . С места не двинулся.

Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иваныч нагнулся. Изумленно себя пощупал: цел?

Шмит злобно, по-волчьи, ощерил зубы, нижняя челюсть у него тряслась.

— С-свол... Ну, уж теперь — понаду-у!

Опять поднял револьвер. Андрей Иваныч зажмурился:

— «Бежать? Нет, ради Бога, еще секундочку — и все...»

Почему-то совсем из ума вои, что в кармане у него тоже револьвер, и пришел-то ведь затем, чтобы... Открыл глаза. Нижняя челюсть у Шмита так прыгала, что он бросил револьвер на землю и нажимал, изо всех сил держал подбородок обеими руками. У Андрея Иваныча все пошло втри, сдвинулось.

— Мне вас жалко. Я хотел, но не стану...

Он вынул из кармана свой револьвер, показал Шмиту. Быстро пошел к калитке.

23. ХОРОШО И ПРОЧНО

Еще затемно, еще только февральская заря занималась, кто-то стучал к Андрей Ивановичу в дверь. Хотел Андрей Иванович «кто там?» сказать, да так и не сказал, увяз опять во сне. Пришла Маруся и говорила: «А знаете, теперь я уж больше не...» А что «не» — не досказывает. Но Андрей Иванович и так почти знает. Почти уж поймал это «не», почти уж...

Но в дверь все громче, все надоедней стучат. Делать, видно, нечего. Пришлось Андрею Ивановичу вылезть из сна, пришлось встать, открыть дверь.

— Непротошнов, ты? Что такое, зачем? Что случилось?

Непротошнов подошел к кровати, нагнулся близко к Андрею Ивановичу — и не по-солдатски совсем:

— Ваше-бродие, барыня велела вам сказать, что наш барин вас, ваш-бродь, грозятся убить. Так что барыня, ваше бродь, просила, чтоб вы ничего такого, борони Бог, не сделали...

— Да что, да что такое мне не делать-то?

Но уж больше слова путного не мог Андрей Иванович из Непротошнова вытянуть.

— Не могу знать, ваш-бродь...

— Ну, а барыня что, Марья Владимировна, что она?

— Н-не могу знать, ваш-бродь...

— «...О, идол проклятый, да скажи хоть, что с ней!»

Но поглядел Андрей Иванович в безнадежно-рыбьи глаза Непротошнова и отпустил его.

Остался один, долго лежал в темноте. И вдруг вскопчил:

— Господи! Да ведь если она прислала это сказать, так значит, она... Господи, да неужели ж она меня...

Догнать Непротошнова, догнать, дать ему целковый

последний! Выбежал Андрей Иванович во двор, на крыльцо — Непротошинова и след простыл.

Но с крылечка Андрей Иванович уж не мог уйти. Небо — огромное, воздух полон сосновым лесом, и море, — как небо. Весна. Вот, — вытянуть бы руки так, — и ринуться вперед, туда...

Жмурился Андрей Иванович, оборачивал лицо вверх, к теплomu солнцу.

— «Умереть? Ну, что ж... Умереть надо легко. Убить — труднее, и труднее всего — жить... Но все, все, и убить — пусть только она захочет».

Такое солнце, что можно было даже создать себе вот эту нелепицу, несуразность: что она, — Маруся, что она и в самом деле... А вдруг? Ведь такое солнце.

С утра — с зари ее видеть... Ничего — только какая-нибудь малость самая малая, легчайшее касание какое-нибудь, как тогда, — падал снег за окном... И уж счастье. С самого утра — до поздней ночи, все — счастье.

Вот так бы вот, раздевши, побежать бы сейчас туда...

Сегодня даже с солдатами заниматься было хорошо. Даже Молочко — новый.

Молочко, положим, и в самом деле сиял, и телючьест его была важная, не такая, как всегда.

— Я имею до вас дело, — остановил он Андрея Ивановича.

— Что? Э, да скорее, не тяните козла за хвост!

— Шмит меня просил... можете себе представить? — быть секундантом. Вот письмо.

— «А-а, вот что... вот почему Маруся»... Открыл Андрей Иванович конверт, прыгал через строчки, глотал, ах — поскорее!

«Во время вчерашнего... с вороненком... Мой дуэльный выстрел... Ваша очередь... Буду стоять, не шелохнусь, и если... Очень буду, мне пора».

Конец Андрей Иванович прочел вслух:

— Позвольте? Это что ж такое? «Дуэль... только Вам одному стрелять. А если вам не угодно, мы посмотрим».

Позвольте, что это за дуэль? Странные требования! Это не дуэль, а чорт знает что! Что он думает, — я стану, как он... Вы секундант, вы должны...

— Я... я ничего не знаю... Он так... он меня послал — Шмит... Я не знаю, — бормотал Молочко, оробело поглядывал на широкий, взборозженный Андрей-Иванычев лоб.

— Послушайте, вы сейчас же пойдете и скажите капитану Шмиту, что такой дуэли я не принимаю. Не угодно ли ему, — оба стрелять вместе? Или никаких дуэлей... Это чорт знает что!

Молочко, поджав хвост, побежал рысцой к Шмиту. Захлебываясь, доложил обо всем. Шмит курил. Равнодушно стряхнул пепел:

— Гм, несогласен, вот как? А впрочем, я так и...

— ...Нет, что ему еще нужно? Можете себе представить: еще накричал на меня? При чем — я? Это с вашей стороны... Это так благородно, отдать свой выстрел, а он...

— «Благородно, ч-чорт!» — Шмит искривился, исковеркался:

— Бла-го-род-но, д-да... Ну, вот вам поручение: завтра вы всем расскажите, что Половец меня обозвал... негодяем, что я его вызвал, а он отказался. Появля!

— Господи, да я... Но почему завтра?

Шмит пристально поглядел на Молочко, усмехнулся нехорошо и сказал:

— А теперь прощайте-с.

С каменным недвижным лицом сидел Шмит один и курил. Револьвер валялся на столе.

— Разбудить Марусю? Сказать? Но что? Что люблю, что любил? И чем сильнее любил...

Он пошел в спальню. Истерзанная ночными распятьями, Маруся мертво спала. Лицо измазано было следами слез, как у малого ребенка. Но эти две морщинки около губ...

Разверзлась Шмитова каменность, проступила на лице смертная мука. Он стал на колени; нагнулся, было, к ее ногам. Но... сморщился, махнул рукой:

— «Не поверит! Все равно... теперь не поверит», — и торопливо пошел в сад.

В саду в клумбе копался Непротошнов: хоть бы чем-нибудь барыню милую улыбнуть, — примечал он ведь, обеими руками она, бывало, к цветам-то тянулась.

Увидел Непротошнов Шмита — дрогнул, вытянулся, застыл. Шмит хотел усмехнуться — лицо не двинулось.

— «Он, — все еще меня боится». . . Чудак! —»

— Уйди, — только и сказал Непротошнову.

Непротошнов — подавай, Бог, ноги: слава Богу — целёхонек ушел.

Шмит сел на большой белый камень, уперся левым локтем в колено.

— «Нет, не так... Надо прислониться к стене... Вот теперь... хорошо, прочно».

Вынул револьвер. «Да, хорошо, прочно!» И та самая пружинка злая разжалась, освободила.

24. ПОМИНКИ

Андрей Иванович сидел и писал письмо Марусе. Может это было нелепо бессмысленно, но больше нельзя — нужно было выкрикнуть все, что...

Не замечал, что уже стемнело. Не слышал, как вошел и стал у притолоки Непротошнов. Бог его знает, сколько он тут стоял, пока насмелился окрикнуть:

— Ваше-бродь... Господин поручик!

Андрей Иванович с сердцем бросил перо: опять рыбе-глазый этот!

— Ну что? Все про то же? Убить меня хочет?

— Никак нет, ваше-бродь... Господин Шмит сами... Они сами убились... Вко-вконец...

Андрей Иванович подскочил к Непротошнову, схватил за плечи, нагнулся — в самые глаза. Глаза были человечьи — лили слезы.

— «Да: Шмита нет. Но ведь, значит, Маруся — ведь теперь она, значит...»

Во мгновение ока он был уже там, у Шмитов. Промчался через зал, на столе лежало белое и длинное. Но не в этом деле, не в этом...

Маруся сидела в веселенькой бревенчатой столовой. Стоял самовар. Это уж от себя расстарался Непротошинов: если что-нибудь такое стряется — без самовара-то как же? Милая, каштановая встрепаная голова Марусина лежала на ее руках.

— Маруся! — в одном слове выкрикнул Андрей Иваныч все, что было в его письме, и протянул руки — лететь: все кончено, все боли...

Маруся встала. Лицо было — дикое, гневное.

— Вон! вон! Не могу вас! Это все — это вы — я все знаю...

— Я? Что я?

— Ну, да! Зачем вы отказались, что вам стоило?..

— Что вам стоило выстрелить в воздух? Я же присылала к вам... О вы, хотели, я знаю... вы хотели... Я знаю, зачем вам! Уйдите, уйдите, не могу вас, не могу!

Андрей Иваныч, как ошаренный, выскочил. Тут же у калитки, остановился. Все перепуталось в голове.

— «Как? Неужели же она... после всего, после всего... любила? Простила? Любила Шмита?»

Трудно медленно до глубины, до дна добрался — и вздрогнул: так было глубоко.

— «Вернуться, стать на колени, как тогда: великая»...

Но из дома он слышал дикий, нечеловеческий крик. Понял: туда — нельзя. Больше никогда уж нельзя.

К похоронам Шмитовым генерал приехал из города. И такую поминальную Шмиту речь двинул, что сам даже слезу пустил, — о других-прочих что уж и толковать.

Все были на похоронах, почтили Шмита. Не было одной только Маруси. Ведь уехала, не дождалась: каково? Манатки собирала и уехала. А еще тоже любила, называется! Хороша любовь!

Взвихрилась, уехала, — так бы без поминок Шмит и остался. Да спасибо генералу, душа-человек: у себя те поминки устроил.

Нету Шмита на белом свете — и сразу, вот, стал он хорош для всех. Крутенок был, тяжеленок, — оно верно. Да за то...

У всякого доброе слово для Шмита нашлось; один только молчал Андрей Иваныч, сидел, как в воду опущенный. Э-э, совесть, должно быть малого зазрила. Ведь у них со Шмитом-то американская дуэль, говорят, была, — правда или нет? А все ведь бабы, все бабы, — всему причины... Эх!

— А ты, брат, пей, ты пей, оно и, глядишь... — сердобольно подливал Андрею Иванычу Нечёса.

И шил Андрей Иваныч, послушно шил. Хмель батюшка — ласковый: некуда голову преклонить, так хмель ее примет, приголубит, обманом взвеселит...

И когда нагрузившийся Молочко брякнул на гитаре «барыню» (на номинальном-то обеде) — вдруг замело, завихрило Андрея Иваныча пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загианная на кулички Русь.

Выскочил Андрей Иваныч на середину, постоял секунду, потер широкий свой лоб — смахнул со лба что-то и пошел коленца выкидывать, только держись.

— Вот это так-так! Ай да наш, ай да Андрей Иваныч! — закричал Нечёса одобрительно. — Я говорил, брат, пей, я говорил! Ай да наш!

ЗНАМЕНИЕ

1

Озеро — глубокое, глубокое. И у самой воды, на мху изумрудном — белый-кишечный город, зубцы и башни, и золотые кресты, а в воде опрокинулся другой, сказочный городок, белозолотой на изумрудном подносе: Ларивонова пустынь. И поет колокол в сказочном городке, колокол медлительный, негулкий, глубокий, гудит в зеленой глубине. И так сладостно-тихо жить отделенным от мира зеленой глубиной. Хлебарям в белом подвале послушно месить хлеб; трудникам терпеливо донить коров вечерами; вратарю, старцу Арсюше, собирать даяния у чугунных ворот. Истомиться постом на повечериях, заутренях, полунощницах; сложить духовнику немудреные грехи и всем вместе встретить радостно Красную Пасху.

Так и жили, пока в пустынь не явился брат Селивестр.

Вешним вечером на Русальной прибежал он к воротам, запыхавшись. Лик — опаленный, пальцы непокойно перебирают одежду, бегают, терпят.

У чугунных ворот низко поклонился Селивестру прозорливый старец Арсюша, вратарь:

— С чем, брат, приходишь? С миром ли?

Подпираясь клюкою, долго ждал ответа старец Арсюша. Мохнатый, согбенный — был он, как малый зверь какой-то: встал ласковый зверь на задние лапы, а совсем не выпрямился, и сейчас опустил на передние и от мятежных людей в лес убежит.

Не дождался старец ответа, впустил Селивестра и только вослед покачал мохнатой головой:

— Попомни, брат, на Страстной-то поется: насытая душа.

Звякнули чугунные ворота, разверзлась перед Селивестром зеленая глубь: как упал камень — от края до края побежали круги.

Шла всеношная, бедная, будняя. Редкие свечи — цветы папоротника в купальскую ночь; в темном куполе — гулкое аллилуя; мимо светлеющих окон — ласточки с песком, из выси в высь. И там — чуть повыше ласточек — Бог.

Появился высокий, незнаемый монах и стал сзади — перед Владычицей, Ширьшей Небес. Икона — древняя, явленная — одни глаза, громадные, да синий покров над землею, как твердь: Ширьшая Небес.

Чудно молился монах; стиснуты губы, стиснуты брови и руки, впился в пресветлый лик, в упор, глазами в глаза. Смущались монахи; колыхались клобуки, оглядывались; ласточек не слышали уж.

Не стерпел старец Арсюша: надо вступить за Пречистую, всем сердцем любил Ширьшую Небес. Пал старец на четверенки — поклон земной. Встал, согбенный, заключал по каменным плитам — прямо к Селивестру — и тихо:

— Ты как же молишься-то, брат, а? Глазами-то Пречистую пробуравить хочешь, а?

Не обернулся, и глаз не отвел Селиверст от Ширьшей Небес, может и не слышал даже старца. Постоял старец Арсюша, похилился еще ниже и, подпираясь посохом, заковылял вон из церкви.

Пошли после всенощной шопоты, зашныряли послушники из кельи в келью, зашущукались с игумновым келейником Варнавой: кто это новый-то? откуда?

Славился Варнава на всю пустынь кудрями; еженочно мочил волосы крепчайшим чаем для кудреватости, и уже ему ли не знать? Но и Варнава не много знал:

— Звать Селиверстом. Из образованных будто. А откуда — неведомо. А выпросил у отца игумена старую Симонову келью.

Симонова келья — в угловой башне, в подвале. Жил некогда в келье юрод Симоон, нарицаемый Похабный. Возле каменного ложа вделаны в стену цепи: приковавшись цепями к ложу, заживо отдал себя Симоон на с'едение крысам.

Был в келье сумрак, дух трудный. Низко, над самым озером, окошечко, от мира закрещенное решеткой. В миру плыло солнце, а в келье — тень от решетки: ползла по полу, с полу на дверь, потухала на темных сводах. Из углов вылазили во множестве седые Симооновы крысы, шуршали, цапали когтями по камню.

Было от них спасение только в красном кругу лампы, и горела у Селиверста лампада день и ночь.

Из кельи выходил Селиверст только на службу, а пищу трапезник приносил ему сюда, в башню. Вареного ничего не принимал Селиверст и воду — однажды в день, только теплую. В скорости стал Селиверст бледен лицом и руками — как бледен бывает овощной росток, проросший в погребе. Молча отдавал встречным из братии поклон, и всё заихивался, торопился скорее в келью, и долго оглядывались встречные вслед и подмигивали друг дружке.

Вечером, когда были кончены молитвенные труды и старец Арсюша замыкал чугунные пустыньские ворота, братия разделялась. Какие помоложе, послушники, годовики — шли на зубчатую стену, рассаживались на увитых повителю кирпичях: не пройдет ли внизу, не проедет ли кто из мирских? Перекинуться словом с запоздалой молодойкой в белом шушуне, вспомнить несмело мирской смех. А мантейные старцы уходили над озером посидеть. Чуть колыхался в воде белозолотой городок. Затеплялись звезды вверх, внизу — в глуби — тихие свечи. И только бы слушать тихий — сквозь зеленую глубину — колокол и тихое — из глуби пенье.

Но сквозь закрещенное решеткой окошко бередила водяную тишь непокойный красный глаз: лампадка Селиверстова. И слышен был из Симеоновой башни заглушенный стенами голос: настойчиво, неустанно, дерзостно взывал о чем-то Селиверст.

2

Игумен Веденей, когда бывал один в покойчике своем, ходил в простом обряде: подрясник и широкий пояс, шитый зернью цветной. А борода седая, от самых глаз — длинная, с зеленью: как царь подводный. Ходил и все бороду поглаживал, и хозяйственно думал о своем царстве.

Хорошо знал Веденей: под зеленый гул пустыньских колоколов лениво его людишки живут, и винопийцы есть, и суесловы, а главное — ни в ком огня нет, духом оскудела пустынь. Старец Арсюша? Да и тот обомшал уж, и как дуб трухлявый: притронуться страшно.

И вот теперь, с высокого своего помоста в церкви игумен зорким глазом сразу приметил Селиверста:

— Непросто монах молится. Уж не он ли?

Весна, лето, белая зима: все так же Селиверст молился, жил в крышной Симеоновой башне, вареного не принимал. Но проку обители от него не было: только смута и сваря завелась по всей киновии. Вот опять старцы приходили жалобиться: хульно молиться этот новый, лететь ему жить в келье Симеона-юрода.

И велел игумен позвать Селиверста.

Снаружки мороз и солнце, а покойчик Веденеев жарко натоплен. Потихоньку тукали стены. Молча стоял Селиверст у двери. Заложив руки за пояс, молча прохаживался игумен. Потом взял Селиверста за руку и подвел к написанной на стене картине:

— Вот — смотри и сам найди здесь себя.

Был на стене изображен Змиевидный Блуд: Змий — зеленый, как яспис, стоглавый, и которая глава присосалась к сосцам женщины, которая к прекрасному чреву ее, и к рукам, и к глазам грешников, уленивших Змия, как мухи. И среди прочих — увидал Селиверст грешника тощего, с выпершими ребрами и разинутым ртом: Змий ввергал в рот ему огненную реку, и всё шире тощий разинал рот, без конца поглощая огонь, и была подпись — «алчба».

Тихо, как бы себе, сказал Селиверст:

— Так, отче, алчу я. Огонь меня сдает, невозможного алчу, знаменья молю — чтобы поверить, знаменья требую. . .

Подошел Веденей ближе. Помолчал. Положил Селиверсту руки на голову:

— Бедное ты мое чадушко, бедное!

Еще помолчал—и стал снова— игумен, хозяин рачительный и строгий. Сверху сурово говорил Селиверсту о дерзании непомерном, о тишине разоренной, о соблазне малым, грозил сослать на хутор коровником.

Но пригляделся игумен: не здесь Селиверст, не слышит. С той поры махнул на него рукой, и пошло все своим путем.

Белые поля, белые стены и башни: на снегу из снега пустынь, золотые ласточки-кресты кружат из выси в высь, а над всем — синяя риза Ширьшей Небес.

День ото дня все синее становилась риза, и синее на снегу тень от Симеоновой башни, и яростней чирикали воробьи на церковных крышах. Пригнувшись, похаживал старец Арсюша около ворот, приглядывался к ручейкам: какому если мешает навоз — скovyрнет прочь клюкой.

— Ну, брат, теки уж, чего там. . . — ухмыляется мохнатый.

С первыми красными днями потянулись богомольцы к озеру — пустынской благодати принять. Складывали на наперти котомки с хлебом да луком. Отдыхали под прохладными сводами башен, в глухом от зеленой воды гуле

колокола. Шли в пещеру затворника Ларивона, где он, батюшка, почивает под спудом. Надевали на себя вытертую скуфейку Ларивонову: чтобы в разум войти. Пригубляли щербатую расписную чашечку: чтобы зуб не болел.

— Из такой же, как мы, чашечки пил — батюшка-то наш, — умилялись щербатой чашечке.

На обратном пути, по обычаю, останавливались у чугунных ворот — у старца Арсюши благословиться, и чтоб сказал прозорливец всякому слово свое мудрое.

Но Арсюша недужен. Усталым звереньем стоял на задних лапах: вот-вот рухнет на передние. Давал богомольцам только общее благословение и улезал обратно в конурку.

Уходили неутоленные, неутешенные.

— Стар стал Арсюша, старехонек. Нету силы досельной.

А нужно подпору, утешенье нужно от горькой жизни, надежду на-про черный день.

И неприметно как-то вышло: стали богомольцы душой к Селиверсту прилегать. Приходилось и от братии слышать: поселился не простой монах в крысиной башне и вареного ничего не ест. «И с нами ни с кем не разговаривает: куда уж ему с нами, грешными...» — говорили которые из братии с усмешкой...

Но усмешка — простым сердцам невдогад, запомнили только: вареного не ест, в башне в крысиной. И сами на службах видывали: глазами — в глаза Ширьшей Небес непрестанно, а лицо у монаха — белизны нездешней.

Росным розовым утром у белой Симеоновой башни — на рассвете, чуть розовом — становились и ждали: пойдет к заутрене Селиверст.

— Не обессудь, батюшка, на дорожку благослови. Благослови-ко еще: сын у меня болен, ему благословенье сне-су.

Бегали у Селиверста пальцы, торопился, запахивался, неловко и стыдливо благословлял:

— Ну, как же это, ну... Я, ведь... Ну, Бог благословит. Ну...

Но по-малу привык, и уже благословлял уверенней, и смотрел им прямее в глаза. И было у них в глазах такое крепкое, неодолимое, катило на Селиверста, как волна морская, взметывало вверх, и знал твердо: невозможное — возможно, и чуял: близко уже, и ничего не было страшно.

3

В этом году собралось к Ларивоновой памяти богомольцев несчетно: уже обежала округу молва — объявился в пустыни новый молитвенник и заступник, и уж будто многим от него была польза. Белым стенам не вместить всех, и еще в субботу выползли из ворот к озеру, гомозились муравьями на изумрудном мху. А подальше, под белыми зубцами, пестрым лугом расцвела ярмарка. Шатры из веретля, и лари, и просто телеги с товаром: гребешки, пряники, красные баклуши. И надо всем — ровный говор, стрекот и гуд: богатырекая пряха, головой выше старых сосен, прыдет и прыдет, бегут холсты даль-дорогою, стрекочут красна. И только когда вдарили к обедне — понемногу задремала, затихла пряха, опустела ярмарка, повалил народ к службе.

А служили нынче в старой церкви — еще батюшка Ларивон в ней малывался — бревенчатая и такая какая-то вроде старца Арсюши: ласковая, кивляя, к земле пригнулась, затянуло мохом бревна.

В старой церкви — народ плечом к плечу. Огню дышать нечем — тускли свечи. Ихала, кликала кликуша. Обмирали ребята и бабы. Какую-то в желтом платке понесли воп из церкви: тяжела бабочка, должно быть, совсем сморило. Выволокли бабочку наружу — а и наружи не легче: крупило вихрем пыль и песок, во рту сохло, а колодец далеко.

Как малую песчинку — с утра вихрем подняло Селиверста и несло, ближе и ближе, все мелькало, не слышал,

не видел: только один громадный, вечные глаза — вобравшие в себя скорбь тысяч глаз.

И не заметил, как пронесло через всю длинную обедню и выплеснуло с толпой наружу. На паперти по-всегдашнему тянулись с култышками, тарелочками, горетками. Быстро протащило мимо, и куда-то все дальше послушно плыл Селиверст над пестрыми платочками, черными, ржаными, рыжими кулдами.

Недалеко от Симеоновой башни — как споткнулась — стала толпа, раздалась — и Селиверст один. На траве стояли посылки, и на них — восковое лицо в белой косынке; рядом какого-то с запрокинутой головой держали под руки двое. Тишина, и сотни глаз — на него Селиверста.

Понял Селиверст, затрясло всего. Нагнутся к белой косынке, положить руки...

— «А вдруг — и правда?»

Тишина нестерпимая. Било Селиверста так, что и пальцы не мог сложить для благословения. Махнул рукой — и, запахивая рясу, путаясь в полах, — побежал, к себе в келью.

Расступились — тотчас замкнулись опять и со стоном, тесно двинулись за ним. Кого-то с запрокинутой головой вели под руки, хлопала по ветру хоругвь, вихрило пыль — и все неистовой крики:

— Батюшка! Кормилец! Заступи! Мы, ведь, знаем!

Сохло во рту, жаждали, молили. Но окованная, с ржавым кольцом, дверь в Симеонову башню не открывалась на стук.

Пошли к покоям игумена Веденей, шумели морем внизу — доплескивало вверх, в тихий покойчик. Вышел на балкон Веденей — как захватили, по-домашнему, в полукафтаны с шитым поясом. Говорил Веденей, но ветром разметывало седую бороду, развевало слова, и не слышали всех его слов, спокойных и вразумительных, а только кто-то лоймал одно:

— Ждите...

И все ухватились, от головы к голове побежало: жди-

те. Уверились, затихли и ждали. И вся пустынь ждала. Попрятались по кельям. Послушники шмыгали из двери в дверь. Перешептывались с усмешкой, а на сердце скребло: а вдруг? И как же тогда жить? В покойчике своем Веденей места не находил: всё взад и вперед.

К вечеру выполз из коморки своей старец Арсюша — крохотный, в аршинчик, согбенный, заклокал к Ларивоно-вой церкви. Пал на четвереньки: поклон земной старой церкви. Потом на глазах у всех подошел, снял клобук, облобызал замшевые темные бревна, еще раз поклонился низко — и заковылял назад в конурку свою у чугунных ворот. И увидели: плакал старец Арсюша, похлипывал носом, кулачком по-ребячьи утирал глаза.

Тягота налегла, растревожил Арсюша:

— К чему плакал старец? К чему знамение?

Повалили за ворота к старцу. Стоял у конурки своей и потряхивал Арсюша кошелем из старой парчи: кошель на длинной насадке, в кошеде медный колоколец — позванивал колоколец жалобно. Плакал старец Арсюша и всех спрашивал:

— Православные, кто со мной завтра в Ерусалим? Прощайте, православные! Кто со мной?

Никто не разумел старца. Шли, смятенные, к озеру в становнице. Пылал над озером в лихоманке лютой закат. Ветер вихрил пыль и песок, и далеко по дороге — вставали темные путники, головою до неба, медленно наступали на пустынь. Миг — и нету, и только выметенное ветром пустое небо.

Стемнело, по дугу запыльхали костры. Пламя кланялось, кидалось. Где выхватит в багровом пятне руку и ложку над котелком; где кудлатую голову и губы трубочкой — дуют на уголья изо всех сил; где тележное колесо, и привязан пес к колесу.

Колокольня отмеривала медленные медные ленты — часы. Всё вздыхали, поднимали головы с котомок, перешептывались. Всю ночь не смыкала глаз красная лампадка над озером. И не спал старец Арсюша всю ночь: непокойным, учувшим зверем бродил между белых стен, мотал мохнатой головой и всхлипывал.

Только один старец Арсюша и увидел начало: ни с того — ни с сего осветился санный сарай — все ярче — и запылало во всю.

Сразу — странный красный день, как день последнего судилища. Четкие переплеты окон, огненные голуби над крышей, красная борода Веденей, чья-то запрокинутая назад голова. Неслись лица с красными зрачками, все пугалось и мигало, как сон.

— Братцы, к озеру — цепью, цепью стань!

Завякали по цепи ведра — да ветер разве зальешь? Бил, гудел, сеял огненное семя — секунду цели жадные жаркие цветы — и в тьму. А быстрые бесенята суетятся уже в соседнем корнусе, и только сверкают и свиреют их востренькие розовые язычки.

— Батюшки мои, к церкви идет! Сейчас займется!

— Церковь сейчас... Ларивонова!

Как старец Арсюша, тихая и покорная ждала церковь — моргала от огня стеклами. Мело ветром огонь прямо на трухлые деревянные стены, и уж сил не было стоять возле — сейчас...

Кто-то крикнул ошипшим, отчаянным голосом:

— Селиверст! За Селиверстом! Где он?

Был Селиверст здесь, в самой гуще. И опять, как тогда после обеда, раздавалась толпа Черным морем — и Селиверст один, тишина, и тысяча глаз жадно на него.

— Ведра-то... Ведрами-то... Братцы... — крикнул игумен Веденей, слабея. Но ни одна рука не поднялась, не звякнуло ни одно ведро.

Услышал себя Селиверст — сказал, не обертываясь назад, внятно и твердо.

— Икону мне.

С Ширьшей Небес в руках — ступил вперед, прислонился спиной к старенькой церкви, против воющей огненной стены. Ветер в лицо, жег и палил.

Последний раз оглянулся Селиверст: обступили кругом глаза. Зачерпнул оттуда — из глаз, неистовая волна хлестнула снизу, от сердца — к рукам. В страшной тишине, всего себя стиснув, сотрясаясь от нестерпимой силы — Селиверст медленно поднял икону над огнем вверх, и потом — вниз, влево и вправо.

И показалось: так же медленно качнулся красный язык перед ним: вверх, вниз, и влево, и вправо — и затрепал, закрутился.

Встали дыбом волосы на голове, прислушался Селиверст назад: может быть — спасут, может быть — скажут, что...

Но сзади себя услышал Селиверст стоголосый гул, и свое имя, и рыдания, и крики.

Понял Селиверст: конец, свершилось.

5

Через силу добрал к себе, запер задвижку — и как был в рясе, в клобуке — ничком на холодное ложе юрода Симеона. Негасимый огонь в лампадке загас. Был мрак и пустота в келье, цапали по камню крысы, но было теперь все равно.

Одной рукой понал на Симеоновы железá: вдавил руку в железный браслет всей тяжестью, — но нельзя выпнуть руку. Была рука в Бог знает какой дали, и громадная, чудовище: невероятно шевельнуть ею.

Почуял Селиверст: весь он — такой же, громадный, наполняющий вселенную. И в то же время — муравьино-крошечный: видел себя все из той же дали, как сквозь перевернутую не тем концом подзорную трубу — себя и крошечное

окошко, а в окошке — закрепленная решеткой крошечная заря.

Тут же, рядом, увидел другого себя и другую заря. Вырезаны узоры балконной решетки на розовом, между решеткой и зарей — черные клубки сосен, а рядом на ковре — та самая, единственная. Совершилось первое в жизни, величайшее чудо: и потухло, пусто. Встать потихоньку, чтобы не разбудить, и вниз — мимо черных монашенок-сосен.

Все светлее крошечное окошко, и уж совсем где-то близко, по каменному ложу, цапают крысы. Шевельнул Селиверет горами-руками, поднялся, пошел к свету, положил голову на каменный подоконник. Заря прогорела. И выметенное ветром — такое было синее, пустое и страшное небо.

Ранней обедни в это утро не было. Разбрелись кто куда: кто прикорнул тут же на наперти, у Ларивоновой церкви, кто поплелся над озером посидеть. Озеро было ясное, светлое, и как на ладони — в зеленой глубине были видны белые стены.

И рассказывали потом — многие будто самолично видели: прогорела заря — высокий монах вышел из пустыни и быстрым шагом пошел прямо в озеро. Вода перед ним расступилась, и явственно был слышан негулкий звон в глубине. А следом выкатилось что-то мохнатенькое из чугушных ворот — не то зверь какой, не то человек — и за высоким монахом юркнуло в воду. В братии же шел слух: нашли в Симеоновой башне загрызенное крысами тело, и потому-де наглухо замуровав вход в башню Симеона-юрода.

Так ли, нет ли, а только после пожара в Лавриновой пустыни и Селиверет пропал, и прозорливый старец Арсюша. Но чудесно уцелела старая Ларивонова церковка. И попрежнему чуть колыхается в воде белозолотой городок на изумрудном подносе, и так сладостно-тихо жить отделенным от мира зеленой глубию.

ДЕТСКАЯ

У капитана Круга были брови. То есть, брови, конечно, были и у всех тут в клубе: брови были у блестящих, белокишечных моряков, офицеров; брови были — очень искусные — у мадемуазель Жорж; очень тоненькие — у Павлы Петровны; замызганные — у Семена Семеныча; шерстяные — на заячьей мордочке китайца из буфета. Но никто не знал, что есть брови у офицеров, у мадемуазель Жорж, у Семена Семеныча, у китайца: знали только, что есть брови у капитана Круга.

Так он был бы, пожалуй, даже не заметен. Небольшого роста; бритое, медное от морского ветра, вечно запертое на замок лицо. И вдруг — брови: две резких, прямых, угольно-черных черты — и лицо запомнилось навеки из всех.

В руке у капитана Круга — неизменная сигара. Перед ним — робкая заячья мордочка. Капитан Круг не отрывает глаз от пепла на кончике сигары.

— Я тебе сказал — три бутылки в «детскую» наверх. Готово?

Голос ровный, покрытый очень толстым слоем пепла, и только еле заметно надвинулись брови. Но у китайца моментально вырастает голова в плечи, вздрагивает поднос в руках, бормочет «Се-м-инут, се-м-инут» — и мчится в буфет, а из буфета по щербатой винтовой лестнице на антресоли: там — «детская».

Когда перебирались наверх в «детскую», все клубные уставы — и вообще все уставы — оставались внизу. Тут играли по рублю фишка; тут устраивали «чайный домик»; тут, в белых японских с драконами обоях — видны черные дыры от револьверных пуль.

Торопливо, задыхаясь в дыму, горят свечи; туча табачного дыма, и нет потолка, нет стен — просто пространство. Похоже на тихоокеанский туман, когда нет ничего — и все есть, как во сне, и как во сне — все целено и все просто.

Давно выпиты три бутылки и еще три. Играть еще не начинали: надо подождать, пока не кончится внизу. Капитан Круг медленно переводит глаза с кончика сигары на кончик туфли мадемуазель Жорж, на тонкий с золотой стрелкой чулок. Эту золотую, указующую нуть, стрелку, знали все, кто видел мадемуазель Жорж на эстраде.

— Ну что же, мадемуазель, будете сегодня отыгрываться? Не на что? Пустяки! Взаимы хотите?

Левая бровь у капитана Круга взведена вверх, как курок, — и все ждут: ну сейчас... Мадемуазель Жорж — на самом краешке стула, и глаза у ней быстрые, как у птицы: может быть, сейчас клонет крошку из рук, может быть, встрепенется — и в окно.

— А хотите так, не взаимы?

В ответ — легкий птичий кивок мадемуазель Жорж.

— Угум, прекрасно... (сигара сбросила пепел). Ну что ж: четвертной — за каждые два вершка до колен; сто — за каждые два вершка выше.

Щеки у мадемуазель Жорж белые от пудры, и ничего не заметно. Но уши загорелись, и красные пятна на плечах, на шее. Обводит глазами клетку из человечих лиц, хватается глазами — но не за что ухватиться.

Мадемуазель Жорж встряхивает локонами, улыбается, — очень весело — и начинает подымать платье.

Пышнощекый с детскими ямочками мичман восторженно раскрыл рот и не спускает с Круга молитвенных глаз. Вдруг вытаскивает из кармана желтый складной аршинчик:

— Круг, вот у меня есть — позвольте я? Ей-Богу, а? Позвольте!

Круг молча кивнул. Мичман с аршинчиком опускается на колени перед мадемуазель Жорж.

— Четыре... Шесть... Поларшина...

Уже белое кружево, и между черным и белым — розовеет тело.

— Деньги... — голос у мадемуазель Жорж такой, что ясно: кто-то ее схватил, держит за горло.

Капитан Круг медленно делистывает новенькие хрусткие бумажки и передает их мадемуазель Жорж. И снова: мичман с ямочками выкрикивает: «Десять! Двенадцать!»; мадемуазель Жорж улыбается, все отчаянней и все отчаянней бьется глазами в клетке из лиц; капитан Круг неспешно раслачивается за каждые два вершка...

— Под таба-ак! — по-волжски кричит мичман, сияя.

Мадемуазель Жорж получила все, что могла. Сунула деньги в карман, выскочила из-за стола, забилась в мышиный какой-то уголок, втиснулась в стену.

Мичман с ямочками восторженно, с обожанием глядит на брови капитана Круга.

— Нет, откуда у вас столько деньжищ, капитан Круг? Нет, ей-Богу, а?

Запертое на замок лицо; пауза. Брови сдвигаются в одну резкую, с размаху зачеркивающую, прямую.

— Откуда? Был пиратом — стрелял котиков в запрещенном районе. Выгодно, но довольно опасно. А потом поставлял уголь — вам, на военные корабли. Еще выгодней — и совершенно безопасно. Вы, моряки — народ отменно любезный.

Мичман закрыл рот. Беспомощно оглядывается назад, по сзади — кто обнаружил невидимое пятно на рукаве, кто потерял спички и усиленно ищет их по всем карманам.

— Капитан Круг, вы... Я хочу сказать, что я просто...

— Да, я слушаю. Итак — вы просто...

Барометр летит вниз — на бурю, но к счастью — в дверях громкое сопенье, и из тумана — огромная тюленья

туша путейца, неизвестно почему известного под названием «Маруся». За ним — гарнизонный отец Николай, и Семен Семеныч с Павлой Петровной. У Семена Семеныча — один погон по обыкновению оторван и шлепает, как туфля. Внизу — кончилось, расходятся, кто — по домам, кто — сюда — в «детскую».

Капитан Круг стряхнул пепел с сигары и (пожалуй, это было уже лишнее: пепла уже не было) постучал сигарой о край пепельницы.

— А Семен Семеныч опять с своим ангелом-хранителем! Ну что ж, Павла Петровна, высочайше разрешите ему поиграть немного?

Павла Петровна — как будто и не слышит. Уселась в тот самый мышиный уголок, откуда только что выскочила мадемуазель Жорж — мадемуазель Жорж торопилась взять карты. Семен Семеныч пододвинул себе стул, вскочил со стула: «Нет, правда же, Павленька, я ниче только на полчаса. Понимаешь, надо же...» Потом торопливо перетаскил стул на другой конец стола — подальше от Круга; потрогал боковой карман; смахнул рукою невидимую пыль с лица.

— Ну что ж, как вчера: фишка — рубль? — спросил Круг свою сигару.

Мичман с ямочками уже снова влюбленно глядел на сигару, на руку, на брови.

— Ей-Богу, а? По рублю — давайте, а? Вот это игра!

Путеец Маруся сморщился. Семен Семеныч вскочил, куда-то метнулся. «Ах, да бишь...» — и опять сел, очень старательно. Это ничего, что по рублю: тем скорее можно отыграться. Главное — осторожно, не волнуйся...

Но после третьей талии, как всегда, уж дрожали у Семена Семеныча руки, все чаще смахивал с лица — и лицо все больше выцветало, все больше становилось похоже на старый дагерротип из альбома.

Альбом — там, в уголку, на коленях у Павлы Петровны. Не глядя, передвигает тысячу раз виденные выцветшие лица. Не глядя, видит: вокруг свечей на столе кру-

жатыся, обжигаются и опять летят на огонь ночные бабочки-совки; и страшное кольцо людей сумасшедшие, лихорадочно, всей силой человеческого духа молит, чтоб вышли десятка и туз — двадцать одно. Вот опять Семен Семеныч лезет в карман за бумажником — и видит Павла Петровна заплатку на кармане: вчера пришила заплатку на том месте, где пуговица бумажника проела сатин.

Семен Семеныч встал. Улыбнулся — так, как улыбаются лица на дагерротипах: указательный палец заложен в золотообрезную книгу — выдержка десять секунд. Улыбнулся, смахнул рукою с лица:

— У меня тут нету... Я сейчас — внизу, в шинели...

Нет, не в шинели, а у сонного, сердитого буфетчика. Павле Петровне уж знакомо это. Буфетчик пальцем водит по книге и щелкает, щелкает на счетах, как будто никакого Семена Семеныча тут вовсе и нет. А Семен Семеныч лепечет — только чтоб не молчать, и похлопывает буфетчика по плечу с такой осторожностью, что ясно: буфетчик одет не в пиджак, а в мыльный пузырь, и тронуть чуть по сильнее — все лопнет, и уйдет Семен Семеныч ни с чем.

А потом — все то же, что было вчера, и неделю назад, и месяц. Семен Семеныч войдет в спальню, когда по стене уж поползет бледно отпечатанный переплет окна; притворится, будто не знает, что Павла Петровна притворяется спящей; прямо в сапогах — на диван и до первых колес по мостовой будет ворочаться и вздыхать, а днем опять вытаскивает бульдог из среднего ящика и сушит в шинель, и опять тайком приберет бульдог Павла Петровна...

За столом Круг барабанил пальцами; ждали Семена Семеныча. И неожиданно для себя Павла Петровна сказала вслух то, что неслух говорила уже целый месяц:

— Послушайте, Круг, за что вы ненавидите Семена Семеныча?

Капитан Круг сдвинул брови, черная прямая черта резко разделила мир надвое. В нижнем мире — капитан Круг пожал плечами.

— Вы несправедливы, и нарочно взвизгиваете, и чтоб он проигрывал. Это подло. И, если я раньше хоть не... хоть немного...

Но тут Павла Петровна остановилась: над чертой — в верхнем мире — промелькнула легкая дрожь, дрожь пробежала по меди до запертых на замок губ. На секунду Павле Петровне все стало ясно, все стало вырезанным из черного молнией — и тотчас же забылось, как через секунду забывается такой как будто отчетливый сон. И уж не знала Павла Петровна, что стало ясно.

А медь — снова была медью, и медь смеялась:

— Вы заметили, господа: когда Семен Семеныч проигрывает, он начинает умываться, вот этак — вроде как муха ланкой...

И помолчав немножко — ни к тому, ни к сему:

— А мухи — чудные очень. Помню, один раз оторвал мухе голову, а она — ничего, без головы ползает себе — умывается. А чего умывать: головы нету.

Путеец Маруся сморщился от безголовой мухи, и стало видно, что он — правда Маруся. Отец Николай покачивал лысой, как у Николая Мирликийского, с седым венчиком головой: может быть, Николай Мирликийский все понимал; может быть, Николай Мирликийский был очень пьян.

Павла Петровна через туман шла к дверям, ни на кого не глядя: потому что знала, как она ходит, и знала — все не спускают с нее глаз.

А затем — вернулся Семен Семеныч; по плечу шлепал, как туфля, оторванный погон. Сзади шел заячелицей китаец с бутылками.

Все гуще дым, все быстрее голоса, лица, брови, седой венчик, карты, ямочки на щеках. Пол качается, как на луба — однажды Семен Семеныч ходил на шкуне кали-

тана Круга — тогда на шкуне была и Павла Петровна, и тогда началось...

У Семена Семеныча — третий раз подряд черный, острый, ненавистный туз. Если-б десятка — Боже мой, если-б хоть восьмерка... Еще туз: два туза, двадцать два...

Все. Семен Семеныч умывается ланкой, покачивается. Все, что принес с собой, и все, что было взято у буфетчика...

— Да вы пересядьте, Семен Семеныч... — это, кажется, мичман, и кажется он подмигивает Кругу. — Вы пересядьте с отцом Николаем — и вот увидите: повезет! — ямочки подмигивают.

Трудно это — встать со стула. Но встал Семен Семеныч, и медленно плывет перед ним образ Николая Мирликийского в венчике.

— А, не-ет! С переодеваньем! Нельзя, нельзя! Семен Семеныч — в рясу! А то ишь ты! Не-ет!

Таков игрецкий обычай. И Николай Мирликийский — в офицерской тужурке с оторванным погоном, а Семен Семеныч в рясе.

— Не смей смеяться! Молокосос! Убью! — кричит Семен Семеныч мичману, весь трясется — а может быть и не мичману это «убью». Нет, конечно, не мичману — и целуется с мичманом — Господи, какие у него милые ямочки! — целуется с отцом Николаем.

Отца Николая сморило.

— Послушай, за-зюшка, ты меня разбуди через полчаса: у меня в четыре завтрашняя, — наказывает отец Николай китайцу. — Меня, по-на, на-нанимаешь? По-на...

Заплетается язык — и, должно быть, заплетаются руки: вместо своего кармана — Николай Мирликийский сунул под столом бумажки на колени Семену Семенычу. А может быть — вовсе и не спялцу это отец Николай, и тут что-то другое: кто знает?

Забыл Семен Семеныч, что он в рясе: будто не в рясе, а только что выбритый и в снежном, чуть прикрахмаленном

кителе, как у мичмана, и с ямочками, — крикнул Семен Семеныч:

— Карту!

— Карту? А чем отвечать будете?—спокойный, покрытый пеплом, голос.

Да, на столе перед Семеном Семенычем — пусто. Но он берет с колен мирликийские бумажки, не глядя, кодает их тому — Кругу, и Круг хрустит повесными бумажками:

— Тысяча . . . тысяча триста — тысяча триста пятьдесят. А в банке — девять. Не подойдет.

Семен Семеныч не видит, но слышит отчетливо резкую, черную черту. И уже нет кителя — снова ряса.

— У меня — дома. . . — лепечет Семен Семеныч.

— Дома? Дома у вас только и осталось — Павла Петровна.

Колода насмешливо щелкает в руках у Круга, на сотую долю секунды перед Семеном Семенычем мелькает туз — сверху колоды, а под тузом — неизвестно почему, но Семен Семеныч знает это, безошибочно чувствует каждым своим волосом, каждым нервом — под тузом десятка, и опрокидывая рукавом рясы чей-то стакан, он протягивает руку.

— На Павлу Петровну? Идет! Выиграете — вот банк. А нет — —

Капитан Круг, конечно, шутит. Всем ясно, что он шутит. И только Семен Семеныч понимает — еще тогда, на шкуне, он понял — но там сверху туз, а под тузом десятка, и сейчас он сгребет всю эту кучу — и в карманы, и всему конец. Ах, в рясе, кажется, не бывает карманов — ну все равно. . .

— Карту!

Туз. Ага? Еще карту. Двойка. Но как же двойка? Ведь Семен Семеныч ясно чувствовал там десятку — совершенно ясно.

— Еще одну. . . Десятка. Ага? Я так и знал — туз и

десятка! — и Семен Семеныч открывает карты победоносно.

А вокруг его рушится смех, и он, засыпанный обломками, падает обратно на стул, выкарабкивается и, ничего не понимая, умывается, умывается ланкой.

— Чудак! Да ведь двойка же еще! Двойку-то вы взяли или нет? — радостно, до слез, захлебывается мичман. —

— Туз да десятка, да двойка — двадцать три. Ну, давайте по пальцам — ну?

Все смеются, у всех — зубы, одни зубы. И только — неизвестно отчего — мадемуазель Жорж плачет. Щеки у ней расписаны грязными ясами — краска с бровей; на остром кончике птичьего носа — смешная светлая капля.

И к мадемуазель Жорж, нелепо размахивая крыльями рясы, кинулся Семен Семеныч, заелозил губами по ясам, по светлой капле.

— Жоржинька... Жоржинька... Павленька...

И зарывается головою все глубже, прячет голову от зубов — одни зубы.

— Мы с тобой... Выпей, выпей, голубчик, — хлопает мадемуазель Жорж и понт его из своего стакана.

Семен Семеныч глотает соленое и потом из стакана — колюче-сладкое. Все чаще — в висках; все быстрее языки свечей, заячья мордочка, ямочки, зубы...

И вдруг — стоп: лист белой бумаги. Краешек стола; сладкое, липкое кольцо — след от стакана; в кольце — муха; и рука с сигарой — пододвигает к мухе лист белой бумаги.

— Ну-с, пишите: «Мною нижеподписавшимся, бывшая моя жена. Павла Петровна, за сумму девять тысяч пятьсот рублей». ... Теперь цифрами: девять тысяч пятьсот...

Семен Семеныч подул на муху; муха зажужжала жалобно, но взлететь не могла. Ну, пусть... Завернул рукав рясы, подписал покорно.

— Ой, Круг, будет вам! Ой, умру, не могу больше! — захлебнулся мичман, ямочки трясутся от смеха.

Семен Семеныч смахнул невидимую паутину с лица: Господи, ясно-же — все это шутка, ну просто — шутка. Вот сейчас — совершенно ясно. Розовеет выцветшая, дагерроттишная улыбка, Семен Семеныч поднимает глаза. Мичман — он совсем еще мальчик, и такие милые ямочки. И Круг... что же — может быть, даже и Круг — —

Канитан Круг медленно складывает лист бумаги. Запертое на замок лицо. Резкая, черная черта бровей.

Было так, очень давно, в классе: заделанное в раму классного окна синее небо, на подоконнике — произительные воробьи. И Семен Семеныч написал классное сочинение о весне — стихами. А потом стоял около кафедры, и гусиное перо — рраз! — черная черта через весну.

Черная черта бровей зачеркнула Семена Семеныча.

— Ну вот — все в порядке. Завтра же отправлюсь получать по векселю.

Нет, это же все шутка, конечно... Это же, — конечно. Все чаще, все торопливей Семен Семеныч умывается ланкой, и какие-то слова в голове — лихие, непослушные, непроворотные.

— Маруся, ну хоть вы... Ведь я же знаю... Ну, ради Бога, скажите, не существует же в возможности действительность — я хочу — в действительности возможность...

— А-а, ничего не существует! Отстаньте! — морщится Маруся.

Окно выцветает, бледнеет, виден черный крест рамы: за окном начинается несуществующая действительность — день. обычный, пеленый, смешной, жуткий, как все дни.

Откуда-то зайчонок — китаец. Нагнулся над запрокинутым венчиком Николая Мирликийского, трясет за плечо:

— Четыре часа. Велел будить. Вставай, четыре часа.

Голова в белом венчике покачнулась, прорезались глаза. Мутно обводят круг, потом на себя: тужурка, оторванный погон, такой знакомый. Ну да: значит — Семен Семеныч. И сердито зайченку-китайцу:

— Ты кого это бу-будишь? Нет, ты кого будишь, а? Я тебе кого велел будить, а? — язык непослушный, вязкий.

— Тебя, Церковь надо.

— Нет, ты зачем меня будишь? Я тебе велел отца Николая, а ты кого? А? Ослеп, не видишь?

«Детская» трясется от смеха. Зайчонок стоит растерянно: запутался. И испуганно, мутио, как дагерротипы в альбоме, глядит Семен Семеныч: «Кто я? Я не существую. Ничего не существует».

На крышке стола перед ним, в гладком, липком кольце — муха все еще взвизгивает и тщетно пытается взлететь вверх.

СПБ., 1920.

СПОДРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ

Глубь, черно, лохмато: лог в логу — лес. Сквозь черное — высоко над головой монастырские белые стены с зубцами, над зубцами — звезды. И слышно: там под стеной сторож в доску тукает.

У сторожа у этого — ключ от монастырских ворот: Сикидину через Дуляшку-просвирню очень хорошо все известно. Только бы теперь этот самый ключ как-нибудь — и почным бытом так бы всё оборудовали тихо-благородно. Ведь днем если — так безпокойства, крику не оберешься...

И назад, в темь, Сикидин очень строго:

— Чтоб физически зря не бить и не лезть дуром, а все согласно постановленью... — по шопоту слышно: брови у Сикидина насуплены, а самого не видать — одни в темноте зубы.

Покамест еще в селе на сходке кулижились, приговор писали — солдат Сикидин так, на запятках, был: главный, конечно, Зиновой Лукич, язычных дел мастер. Ну, а теперь, как до дела дошло, тут как-то, само собой, Сикидин — главнокомандующий, и перед ним ожимается Зиновой Лукич. а уж про старика Онисима и говорить нечего: на всякое слово Сикидинское — ротик оником, и все свое — «О? Во-от!»

Взобрались кверху — к зубцам. И вот — у стены костерок красный, у костра — красная собака, вниз-вверх, мигает-потухнет, и красный мужик обхватил колени, в коленях ружье.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божий... — на бочек желтая головка Зиновой Лукичева, и уж такой будто пригорбый, такой прихворый. — К матушке игуменьи мы, насчет, стало быть, этого... дровец... Да вот припоздали... Ну-ну-ну, собачка! Да Господь с тобой, собачка, что ты, что ты, собачка?

— Цыц, Белка! Сядь!

На ошейнике — красная сторожева рука. Рука шестипалая, шестой палец — на отлете, упорный, твердый: кочетинная шпора. И мельтешат в красном свете, тут-там мигают, торопятся желтые Зиновой-Лукичевы ручки вокруг сторожа, Белки паутину плетут: тоненькая — и не видать глазом.

Про какую-то собаку генеральскую, про Серафима Саровского. Напакостила собака на паперти, а он, батюшка, железом своим святительским тут же на паперти ее и прогвоздил. А вот тоже в Нил-Столбенском скиту кобель причастие проглотил, и в ту пору ж у кобеля — морда чело-вечья, и говорит кобель тот самый... .

Обметало паутиной. Кочетинный палец не шевелится; Белка — морду на передние лапы, глаза зажмурила... .

— Пойти хворосту, что ли, подкинуть... — потянулся Сикидин, встал лениво. Исполдobby желтым глазом проводила его Белка, и исполдobby — Зиновой Лукич.

— И говорит кобель этот самый: правосла-православные... .

Зашелся дух у Зиновой Лукича: «Владычица, Сподручница Грешных, помоги!» Увидал сзади над сторожем Сикидинские зубы.

Раз! — сверкнули — глухо мукнули, как бык, сторож — и на земле, с Сикидинским гарусным шарфом во рту.

Взвизгнул, взвилась Белка — Сикидина в руку. Ткнул Сикидин пожем, вытер об траву, затихла Белка.

Из лога — месяц, посинелый, тоненький, будто на одном снятом молоке рос. Вылез — и скорей вверх по ниточке — от греха подальше, и на самом верхотурье ножки поджал.

Чтоб невдогад монашкам — чтобы дрыхли спокойно — старика Онисима оставила наверху со стукушкой, в доску стукал старик потихоньку. А сами над сторожем — в логу.

Умаялись с ним, окаянным, беда! Одно напретил: «Был, — говорит, — ключ на поясу, сами же сронили — сверху то сюда волокли».

Бумагу ему пред'явили:

— Ну гляди. Вот: «... И все денежные финансы монастыря во имя Пресвятыя Богородицы Сподручницы Грешных, единогласно в пользу крестьян села Манаепок». ... Понял? Давай ключ.

Молчит. Тут за него по-свойски Сикидин взялся: физически — в хряпало в самое — вот как ублаговолил. Молчит. Тьфу!

— А пес его знает — и не врет, может? — и на карачках пополз по кустам Сикидин: ключ искать. Как же: ниц ветра в поле!

Зленный вернулся: не подходи. Ножик вынул, откромсал ломоть от краюхи, жует, а сам — все на сторожа: черт шестипалый! Придется теперь из-за него днем все...

Тишь. Ничего, будто, и не было. У ворот монастырских в доску бьет старик Онисим. И только вот Белка не брешет, да рука у Сикидина тряпкой замотана: от Белкиных зубов след.

Вдруг ухмыльнулся Сикидин — зубы, как у Белки — и к сторожу:

— Ну-ка, ты — вместо Белки твоей покойной? Ну, бреши, говорю!

И ножичек приставил к кочетиной шее. Сторожева лица за Сикидиным не видать — только руки, на животе скручены, и мечется шестой палец все пуце, все пуце.

— Вре-ешь, у меня, брат, забрешешь!

Взял ножом чуть покрейче. Икнул, булькнул сторож — и залаял. Еще — и уж звонче, чище собачий лай.

Носом шел смех у Зиновья Лукича — неслышно, как из проткнутого пузыря дух. Онисим прибежал сверху — глаза младенческие, ротик динком:

— О-о? Во-от! Ну шуты гороховые! А я думал — заправдошняя... думал — и верно с собакой кто! — Захлебнулся весело по-ребячьи, глаза младенческие, чистые. — Ну-ка, ну-ка еще?

Но Сикидии уж бросил нож, и сторож лежит молча. Чуть шевелится шестой кочетиный палец.

Торопится месяц все выше: чуть видать уже. Зеленеют черные листья. Заря — как скирды в сухмень — ровным огнем. День будет благодатный, тихий.

Но что будет в этот тихий благодатный день?

У матери Нафанаилы, игуменьи, прежде именышко было — тут же в уезде. Родила в миру девять детей, все дочери, и все — в мать: маленькие, синеглазые, в перевалочку — как уточки-водоплавки. Без мужа подняла девятерых на ноги, и вот — старших уж замуж выдавать, и вот — внучата, свеженькие, крепенькие, как грибки — то-то будет визгу, то-то веселье!

Силы надо девочкам, откармливала: мастерица была, какие крупеники стряпала, какие перебяки из солода!

— Ешьте, девочки, больше, соку запасайте, наше дело женское, — трудное.

А было однажды кушанье — сомовина заливная со льдом. А был год — холерный. Заболели все девять — в неделю, как вымело: одна в доме.

Ушла в монастырь, и теперь — девяносто дочерей у Нафанаилы. Усохла вся, черненькая, маленькая — жихмо-

рось, а ходит все так же в перевалочку; старушечий рот корытцем, а глаза — прежние: большие, синие, ясные. Дереву, бывает, почернело, скрючилось, а весной отпрыгнет какая-то ветка одна — зеленая, и всему дереву глаз радуется.

Любила мать Нафанаила весну, капель, черные прозоры земли сквозь снег. А уж как выбьются лысые головки первых трав, да повылезут из под камней склеенные задиками красные козявы с нарисованными на спине глупыми мордами, да зазвенит звон пасхальный...

— В лес, девочки, такие-сякие, сейчас чтобы в лес — цветы собирать! Весна — время самое ваше. Пошли вон! — ногами будто затопает.

Много из манаенского монастыря замуж повиходило. И так рожали ребят не мало: старушечьи корытцем губы корили, а ясные глаза смеялись.

И все девяносто дочерей — в матери Нафанаиле души не чаяли, уж так ее берегли, а вот нынче...

— Батюшки мой, как же это теперь ей сказать-то, сторож пропал — куда неизвестно, и с собакой Белкой. Расквелится, расстроится, а день такой...

День такой: ангел нынче матери Нафанаилы.

К казначее за советом. Казначей Катерина — мужик-баба: жилистая, бровястая, и уж даст совет — как замком замкнет и припечатает.

— Завтра успеется. А нынче об стороже — чтоб никто не пикнул, — порешила казначей.

И пошел день своим чередом. Пахло явствами из подвала под трапезной. Колоба на сметане, пироги с молочной капустой, блинцы пшениные: девочек своих угощала нынче игуменья. К поздней обедне звонили по праздничному — в большой колокол. Монашенки в новых рясах, все больше румяные, пажми — сок брызнет; из-под черного, груди как ни пряч, упрямые — прут.

— Эх, родименькие! — зарился на монашек Сикидия, зубы разгорались, росли.

Сторонних богомольцев в церкви — всего никого, и только странников пяток, да манаенских трое: Сикидин, Зиновой Лукич, да старик Онисим.

Зато на чудотворной иконе — Сподручнице Грешных — народу нечестно: и все к ней — головы и руки — а Оно на всех ласково — глаза синие, ясные.

— Сподрушница... Владычица, выручи, помоги... — голровку на бочек, уж такой пригорбый, уж такой хворый — перед Владычицей стоял Зиновой Лукич...

Душатка - просвирица вынесла игуменью именная просвиру трехфунтовую. Освободилась — и за дверь. И оглядываясь — по каменной плитяной тропинке на кладбище влево. Погода немножко, вышел и Сикидин из церкви.

Липы растомились, дышат часто. К духу медвяному пчелы так и льнут. На теплой могильной плите — Сикидин с Душаткой. И уж Душатка расслабла вся, руки распустились, и только одно на свете: Сикидинская лапа на правой груди.

— Так ты гляди, Душатка, чтоб без обману. Как после трапезы заснут — ты нас коридором, через корпус, в покои к ней, а сама ноги за пояс, и марш. А ночью тебя на поляне — буду ждать, бесноворотно.

— Ванюшка, только Христа ради, чтоб беспокойства какого не было.

— Дура! Мы — деликатно, согласно постановленью.

Только одно на свете: Сикидинская жестокая лапа на правой груди.

После обедни, в покоях матери Нафанаилы шумели гости: причт из Манаенок, из Крутого, из Яблонова. Уточкой-водоплавкой переваливалась, хлопотала, сухощья, чер-

ненькая. А глаза — весенняя ветка отпрыгнувшая: ясные, синие. . .

Дьякон Круговский — дочь Ночку замуж выдавал: уж так радовалась Нафанаила, как расспрашивала обо всем.

— Ну, а платье то какое венчалное?

— А платье — кисейное, белое. Вот тут вот — вставка, а тут боры кругом.

— Ну, слава Богу, слава Богу! А музыка то — была?

— Ну, музыка у нас какая же? Так два жиды в три ряда.

— Ну, слава Богу, слава Богу! Ближчиков-то еще, а?

Радостно, а все-таки уходилась Нафанаила с гостями. И как ушли — Катерину-казначею отпустила, штору задернула и на диван прилегла. Штора желтая, позолочено все в комнате, веселое: посуда в горке позолочена, просвира трехфунтовая, и по окнам — в вазах медвяные липовые ветки, и купавки, и лютики.

А только глаза завела — все девять дочерей тут, тоже — на именины: веселые такие.

— А музыка-то у вас есть там, милые вы мои?

— Ну, как же, обязательно. . . — и пошли притоптывать, и все громче, сапоги-то у них там — какие здоровые!

Раскрыла Нафанаила глаза: у притолоки — мужиков трое топчутся.

— И как же это я крепко так? Поди, в дверь Катерина стучала, — а я ничегошеньки. . .

Вскочила, поправилась — и к мужикам в перевалочку:

— Как будто манаенские, а?

— Манаенские, конечно. И прибыли к вам именно согласно постановленью.

— Родимые мои, вот уж для меня нынче радости сколько! Уж вот спасибо-то! И вы вспомнили — почтили меня, старуху. А у меня и пирог именинный, и все. Ну, сейчас, сейчас. . .

И утичкой-водоплавкой, в соседнюю комнату, зазвела тарелками.

У старика Онисима — ротик ôником.

— Ска-жжжи ты на милость! Вот так попали!

Слыхать было явственно, нож проходил мягкое и легонько тукал в тарелку: резала пирог ломтями.

Зубы у Сикидина посверкивали, глаза упрятал в картуз — картуз в руках:

— Что ж, как мы с утра не евши. Но только уж что-бы потом никаких привилегий, бесповоротно.

Игуменья тащила поднос, на подносе пирог, графин с висантом, карпятницы жареный кус.

— Ну, милые вы мои, уж теперь вы меня... Ангела моего вспомнили, а? Ну, вот тут вот, вот тут. А ты бы, старичек, в кресло. Ну-ка на здоровье? И я с вами.

Со сторожем окаянным всю ночь провозились манаенские. А висант к именинам — хороший, крепкий: по костям пошло, в темя вдарило. Все свирепей рвал пирог волчьими зубами Сикидина. Все пуще голова на бочек у Зиповея Лукича.

Еще стаканчик — и заколотил себя в грудь Зиповей Лукич:

— Матушка, грешник я, вот передо всеми говорю. Как мясоедом я третий раз женился на молоденькой... Опять же и телка с ящуром... Но как она, Мать Божия, значит, Сподрушница Грешных — обязана она выручить нас из положения? Хотя хоть и грешник я, и телка... но как мы, значит, для общества, а не для себя... верно я говорю Сикидин? А?

Стукнули в дверь: мать-казначая. Шаги крепкие, мужичьи. На манаенских поведла бровями:

— «Проюхали пирог мужичишки, влезли! Хоть бы какой час ей покою дали!»

— Катеринушка! Уж ты бы еще нам висанту — уж день такой. Сделай милость, вот в горке ключи от погреба.

Ну: либо сейчас, пока эта в погреб ходит, либо — все прахом...

Встал Сикидин, лоб нагнул — бык брухучий. Руками об

стол оперся, правая — тряпкой замотана. Увидала тряпку мать Нафанаила:

— Батюшка мой, это что же у тебя рука-то... Дай я тебе чистеньким завязжу, а то еще болеть прикинется...

Поднял руку Сикидии. На игуменью — на руку — загнулся...

А тут как раз и Онисим покончил. От висанту — красный, и еще белые волосы ребяче-стариковские.

Крякнул, утерся — и поклон полевой:

— Ну, матушка, на угощеньи спасибо. Уж вот как — по сих пор. А уж пирог — ну...

Игуменья свечкой так и затеплилась: Господи, то-то нынче день хорош!

А Сикидии столб-столбом, на языке — грузило свиное. Да как зубами вдруг скрипнет — и в дверь пулей!

— Да что же вы, погодите! Уж вот она — Катерина, ключами гремит... Сейчас — висанту еще...

Куда там годить: по лестнице прогромыхали, по теплым плитам под липами шлепают...

В логу у телеги чистили Онисима-старика:

— Ах ты, дурак полоротый! Ах, орясина! «Спаси-ибо, матушка!» Как уговорено было, а? Кабы молчал, глядишь, все-бы... «Спаси-ибо матушка!»

— А вы, коли меня умней, вы бы еще давиша об деле с ней говорили. А вы что? А-а, то-то и оно-то!

На телеге Сикидии горился:

— И как нам теперь нашим, манаенским, сказать? Конечно, были обстоятельства вразрез наших ожиданий. А только срамота, ей-Богу! Уж надо какую-нибудь теорию придумать, а то разве про это выговоришь: «Спаси-ибо, матушка!»

А сам кнутовищем по лошади, по лошади, чисто по лошади это, а дед Онисим.

Ну, ничего: еще семь верст. Авось и придумают теорию.



Сидит Дашутка у окна, виден между крыш верешок неба. На небо поглядывает и письмо диктует, матери, в село Яблоново, письмо. Разошлась Дашутка и все правила письменные позабыла: уж на третью четвертушку перелезли — а она все диктует.

— ... А еще — жить в городе очень великолепно, правда истинная. Господа — богатые, и не как-нибудь, а чайным трюндом в день, и дом ихний называемый обособник. Барыня — ласковая, дорит платки носовые шелковые с своего плеча, а то еще платье подарила голубое шелковое ненадеванное. И все это я по вечеринам хожу и прелестно там танцую, очень свободно. А в субботу отпросилась в собор ко всенощной, а в соборе — мощей видимо-невидимо: направо — моща, налево — моща, ну прямо — проходу нет, очень великолепно. А также Иван Андреянов за меня сватается, старший дворник, который над всем домом старший, а дом огромный, в шесть этажей, и всякого добра видимо-невидимо.

А вообще у нас всякая швабра живет, одно слово — свита. Только звание, что господа, а тоже третий месяц за квартиру не платят. А барыня — взгальная, ну прямо вот покою не дает. И в лавку тебя гоняет, и в аптеку беги: ка-ак же, аверьяновых капель ей надо, с своими распалась! Ну просто мочи моей нету. Ночью-то ляжешь, а ноги так и гудут, и гудут, чисто колокол, правда истинная. А также жалованья шесть рублей, и никуда со двора не пус-

кают, хоть бы в церкву сбегать когда, морду перекрестить — и то нельзя, и юбка голубая шелковая на животе прожжена, которую барыня к празднику подарила, а я и говорю: на кой мне ляд такая нужна, прожженная, очень свободно, так и говорю.

А дворник Ванька проходу не дает, прямо за грудки, а сам лысиций, стариций — чистый грех страшный, и кила на камушке. Так бы вот его и огрел по башке чем ни попадя: туда-а же, с руками с своими лезет, облезлый! А подика ты ему поперек слово скажи, как он пазываемый старший дворник и над всем домом старший, а в доме нашем шесть этажей, и все живут зажиточные, третьеводись один на машине приехал, так в самый дом и вкатил, как перед Истинным, очень свободно. И фонари на улицах целую ночь полыхают, светло — чисто день белый, иди — куда хочешь, очень великолепно, не то, что у вас в селе. А только нету в городе купыря, и ни за какие деньги не найдешь, а у нас в огороде купыря, поди, сколько хочешь. Выйтить бы теперь на огород босиком, и чтоб земля праховая была под ногами, и взять бы купыря пожевать, и больше ничего бы и не надо. Только об том и во сне вижу, как бы в Яблоново к нам попасть, по огороду соскучилась, мочи моей нет, каждый вечер навозрыд плачу. И спасибо тебе, мамышка, что дозволила мне в город на место итить, а то бы так всю жизнь темной и жила в селе, дура-дурой. А теперь хорошую жизнь увидала и будет про что на старости лет вспомнать, правда истинная...»

А Ф Р И К А

Как всегда, на взморье — к пароходу — с берега побежали карбаса. Чего-нибудь да привез пароход: мучицы, солины, сахарку.

На море бегали беляки, карбаса ходили вниз-вверх. Тарахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса.

— Все, что ли, а? — и уж хотели было поморы обратно вернуть, но тут вышло происшествие необычайное: с парохода по лесенке стали спускаться господа какие-то.

— Это... господам-то... куды же? — опешили карбаса.

— Но-о, глазами захолопал! Не видишь, в Кереметь к вам? Принимай живей. Еруни-итка!

Принимать пришлось Федору Волкову. Было их двое господ да одна девушка ихняя. И то разговаривают все по-нашему, по-нашему, а то примутся еще по-какому-то. Подвинулся Федор Волков.

— Вы, господа, сами-то родом откулева же будете?

А господа веселые. Переусмехнулись между собой, да и говорит, который бритый:

— Мы-то? — подмигнул, — из Африки мы.

— Из А-африки? Да неуж и по-нашему там говорят?

— Там, брат, на всех языках говорят...

А девушка ихняя засмеялась. Чему засмеялась — неведомо, а только — хорошо засмеялась и хорошо на Федора Волкова поглядела: на плечи его страшные; на го-

лову-колгушку, по-ребячьи стриженную; на маленькие глазки перпячьи.

Показал Федор Волков господам приезжим отводную квартиру: держал нынче квартиру Пимен, двоеданского па-четчика племяш. Хорошая изба была, чистая.

Сел Федор Волков на камушке у ворот. В тишине сумерной было явственно слышно, как они там в избе разговаривали, то по-нашему, то по-своему опять. А потом заиграла девушка ихняя песню. Да такую какую-то, что у Федора нида в груди затеснило, вот какая грусть, а об чем — неведомо. И дивно было: девушка, будто, веселая, а этак поет?

Век бы ее слушал, да поздно уж: хочешь-не хочешь, время — спать.

Ночь светлая, майская. По-настоящему не садилось солнце, а так только принагнется, по морю поплывет — и все море распишет золотыми выкружками, алыми закомаринами, лазоревыми лясами.

Не то во сне снилось Федору Волкову, не то впрямь это было: будто, опять нела девушка ихняя, а он, будто, встал, оделся и по улице пошел: поглядеть, где же это она поет-то ночью?

Идет мимо Ильдиного камня, а на камне белая гага спит — не шелохнется, спит — а глаза открыты, и все, белое, спит с глазами открытыми: улица изб явственных глазу до сучка последнего; вода в лещинках меж камней; на камне — белая гага. И страшно ступить погромче: снимется белая гага, совьется — улетит белая ночь, умолкнет девушка петь.

И опять — не то сон, не то явь, а только, будто, окно — темное, она — белая в окне-то и, будто, шопотом, шопотом так Федору Волкову:

— Они спать полегли. А я не могу спать, — как же спать? А ты, милый, пришел, вот спасибо тебе...

И еще — будто из окна нагнулась, обхватила Федора Волкова голову — и к себе прижала. А руки у ней, и

грудь у ней — так пахнули — только во сне так и может присниться.

Днем возил Федор Волков господ из Африки. На семгу ярус закидывали, лежали на ярусе два часа. И все глядел Федор на девушку ихнюю и глазами пытал: ночью — во сне ли она приснилась или...

К вечеру вернулся обратно пароход, стал на взморье и загудел. И опять Федору же вышло везти к пароходу господ приезжих.

— Ну, Федор Волков, прощай. В Африку-то приезжай к нам... — и засмеялись все трое.

И взяло тут сомнение Федора Волкова: не потешаются ли они над ним с Африкой с этой? Мотнул стриженной колгушкой своей:

— А ну-ко-сь ей нету, Африки-то? Приедешь — ей нету? А то бы я приехал бы... — и глядел на девушку, все пытал: приснилось ночью тогда — или...

— Нет, Федор Волков, вы им не верьте, они такие уж... Вы ко мне приезжайте. Уж там доехать — доедете, только выехать. Ну, я буду вас ждать.

Нагнулся в низком поклоне Федор Волков и показалось: от руки — тот самый, тот самый дух, который во сне...

И поверил в Африку Федор Волков:

— Ну, ни ладно, приеду. Мое слово - безоблыжное.

2

У Пимена, племяша двоedanского, собаки не жили: годок поживет какая — а там, глядишь, и сбежала, а то и подохла. И шел слушок: оттого у Пимена собаки не жили, что уж больно он был человек уедливый. Как ночь — так Пимен к конуре к собачьей:

— Ты у меня, мерзавка, гляди, спать не смей. Даром, что ли, я тебя кормлю-то? Хлеба одного лопаешь в неделю на семь конеек...

И пойдет, пойдет вычитывать: где же тут вытерпеть — собака не вытерпит.

Мудрено ли, что, идучи ночью одной весенней мимо двоеданской избы, услышал Федор Волков чей-то жалобливый хлип. Ближе подошел: окно открыто, то самое, и в окне — слезами облитая, горькая Яуста, старшая Пименова.

— Ты чего, Яуста, эка, а?

— Отец со свету сжил, заел, ни днем продыхнуть, ни ночью...

Да полно, Яуста ли это? У Яусты волосы — как рожь, а у этой — как вода морская, русальи, зеленые. Яуста — румяная, ражая, а эта — бледная с голубью, горькая. Или месяц весенний заневодил зеленесеребряной сетью ту, дневную?

Как тогда — во сне или на яву — опять стоял Федор Волков у окна избы двоеданской, утешал горькую девушку. Нет того слаще, как девичьи слезы унять, увидеть улыбку, осветленную слезами, как лист — дождем. Нет девичьих рук нежнее только что утиравших глаза — еще мокрых от слез.

— Яуста, как же это я никогда не видал-то тебя?

— Ну, теперь — гляди. Хочешь — тут вот — хочешь, гляди...

Пимен, племян двоеданский — ростик маленький, тощий: такие всегда бывают худые, неотвязные. Каждый вечер Пимен пил Яусту, свою старшую. Может, только за то и пил, что в девках она засиделась, и младших двух задерживала. Каждую ночь Федор Волков утешал горькую, с зелеными волосами русальи, Яусту. Каждую ночь месяц весенний становился все тоньше: уходила весна, девушка застенчивая; аукало за лесом лето, с ногами голыми, белыми, с бесстыдным солнцем ночным.

Когда шли от венца Федор Волков с Яустой, старшей Пименовой, еще висел последний тоненький месяц, еще звенел чуть слышим серебряным колокольцом. Заперли молодых в прибраторой подклети; садясь на постель, Федор Волков сказал, по обычаю по старому:

— Ну, забудь меня, молодая жена.

Нагнулась Яуста, горькая, русальная, покорно сапог разобула Федору Волкову. Так покорно, что другого не дал ей снять Федор — сам стал ласково снимать с нее подвенечный обряд...

Еще спала Яуста, а Федор Волков, вскинул ружье, шел уж к лесу на Мышь-наволок. Играло в росе розовое солнце. Поцелуишо чмокала мокрая земля под ногами. В тонкую, однотонную дудку свистел рябчик — подругу звал. И так песней занялся, что Федора Волкова вылетную подпустил: тут только опомнился, фыркнул, перелетел на соседнюю сосну — и опять засвистел. Улыбнулся Федор Волков, от плеча отнял ружье — и пошел домой.

У бобыля в избе — откуда порядку быть? Пахнет псиной — вчера только первую ночь не спал с Федором в избе Ягошка лягавый; по углам — пауки; сору — о, Господи, сколько! Яуста вымыла все, оскоблила пол добела, женка хозяйственная выйдет из ней — хлопотушей ходила по избе.

— Здравствуй, Яуста, ах, ты, хозяйюшка ты моя... — бежал к Яусте Федор Волков: обнял ее поскорее, какая она теперь — после ночи? Бежал по избе — по скобленому белому полу...

— Да ты что, сбесился — не вытерев ноги, прешь то? — заголосила Яуста в голос. — Этак за тобой, беспелюхой, разве напритиранси?

Со всего бега стал Федор Волков, как чомором помраченный. Опомнилась Яуста, подошла к Федору, губы протянула, а на отлете — рука с ветшкой.

Молча отстранился Федор — и пошел за порог: сапоги вытирать.

С того дня опять Федор Волков стал ходить молчалив. Что ни вечер — увидишь его на угоре у Ильдиного камня: самого не видно, только одна голова — стриженная колгушка — над светлым морем маячит.

— Чего, Федор, выглядываешь? Аль гостей каких ждешь иззаморских?

Глянет Федор глазами своими перипячими, необходимыми, и головой-колгушкой мотнет. А к чему мотнет — да ли, нет ли — неведомо.

Стал почамы пропадать Федор Волков. А ночи — страшные, зрячие: помер человек — а глаза открыты, глядят и все видят, чего живым видеть нельзя. Металась Юста одна в светлой подклети, пустой от неусыпного солнца.

— Да где же это ты, лешейник, ходисси... — днем голосила Юста. — Да и чем же это я опризорила, где мои глазыньки были, когда я замуж шла за тебя?

Федор Волков молчал: только глазами необходимыми немовал что-то Юсте, а про что немовал — неведомо.

Должно быть, Юста отцу пожаловилась: стал Пимен, племян двоюродный, за Федором следом виться, как комар, и жилить его непрестанно:

— Ты как же это, Федор, с женой-то не влюбел живешь? Как ты с нею повенчан, то по закону Божию — должен на ложе спать, а ты что ж это, а? — вился и вился Пимен.

Когда в церковке деревянной звонили к вечерне, выходил Пимен на двор, возле водовозки бухался на колени и сладкогласно пел Богу молитву вечернюю. Дождь ли, снег ли, — а уж Пимен возле водовозки пел обязательно. Тут от него и спасался Федор Волков — в лес, к Мышьнаволоку. Так, пока не пришла лютая осень, в лесах и коротал ночи, со своими снами с глазу на глаз.

Забелели беляки на море, задул ветер-полуночник. Налегнуло, нагнулось небо, бежали облака быстрым дымом, задевали о верх деревьев. Мга засеялась, не разобрать — где небо, где море: никто уж теперь не придет.

— Ну вот, Федор, стал и ты дома сидеть, слава Богу. Остепеняйся-ка помаленьку, с Господом... — ласковым комаром пел Пимен, вился в самое ухо Федору Волкову.

Но был нынче Федор необычен: грузен сидел, и глаза были красные, кровью налитые, вином несло — и все ухмылялся.

— ...Иди-ко, иди, Федорушко, с женою-то, а я дверь замкну — у двери посижу. Ну, давай — поцелуемся, Федор, ну давай, ми-ло-ой...

Потянул Пимен свое рыльце комариное, медленно Федор к нему потянулся — да перед самым носом у Пимена — хоп! — зубами как щелкнет. И еще бы вот столько — заценил бы Пименов нос.

Отскочил Пимен в угол, руками замахал, а Федор Волков гоготал во все горло — никто не слышал такого его смеха:

— Ага-га, душа комариная? Ага-га, забоялся? Вот я — вот я...

И споткнулся на чем-то, заплакал горестно, положил на стол стриженую колгушку свою:

— Уеду... у-й-еду я от вас... Уеду-у...

— Куда ты уедешь, рвань коришневая, живоглот ты, куда ты уедешь, пропонца горькая? Уж лучше молчал бы...

3

Покойный Федора Волкова отец китобоем плавал и был заливиха престрашный: месяца пил. В пьяном виде была у него повадка такая: плавать. В лужу, в проталину, в снег — ухнет, куда попало, и ну — руками, ногами болтать, будто плавает.

И вот ведь чудно: оказалась повадка отцовская и у Федора Волкова. Заперли его в теремок, наверх, зимою уж это было, а он — Господи благослови — крестным знаменем себя осенил да головой сквозь окошко нырнул — прямо вниз, в сугроб. В том сугробе целую ночь и проплавал.

На утро подняли: сле живехонек. Отнесли в баньку: в избу ни за что не хотел. В этой баньке и пролежал Федор Волков всю зиму. Только к весне на ноги встал, да и то с сердцем недоделка какая-то осталась: иной раз подкотится под сердце — только ищет Федор за что бы рукой ухватиться. Ну, да это пускай: только доехать до Африки, там уж пойдет по новому.

После всеобщей преполовеченской подошел Федор Волков к батюшке, к отцу Селиверсту:

— Пспросить бы мне вас, батюшка, надо об деле об одном.

Отец Селиверст — старенький, весь усох уж, личико в кулачок, и все больше спал. К чаю ему подавали большую чашку: помакает он булку в чай, выпьет — да и опрокинет чашку, чтобы все крошки собрать. Чашкой-то прикроется этак, да и похранывает себе потихоньку.

Присели с Федором Волковым на камушке возле ограды.

— Ну, что, дитенок, что скажешь, как тебя звать-то, забыл?

— Федором. А есть у меня, батюшка, желание душевное... То есть вот какое — одно слово... Хочу я — в Африку ехать, а как я неграмотный...

— В А-африку? В А... Ох, уморил ты меня, дитенок! В Афри... — ой, не могу!

Смеялся-смеялся отец Селиверст, от смеха устал, на камушке возле ограды — тут же и заснул. Так и не добился от него Федор Волков ни словечка. А уж больше и не у кого было узнать, никого и не спрашивал.

На угоре у Ильдиного камня томился Федор Волков, на карбасе бегал ко взморью всякий пароход встречать. Пришла шкуна монастырская: на монастырские пожни народ везти. И Руфш, монах, какой за капитана у них ходил, так себе — к слову — сказал Федору Волкову:

— Намедни к Святому Носу ходили. Набирает, этта, Индрик народ, в океан бегут за китами.

И осешило тут Федора Волкова: Индрик-капитан, вот кто скажет про Африку-то. Господи Боже мой, как же не скажет? С Индриком — еще отец Федора Волкова в океан промышлять хаживал. И бывало, придет к отцу Индрик — рассказывать как начнет про океан индейский: только слушай. Все позабыл — а вот одно Федору по сю пору запомнилось: бежит, будто, слон — и в трубу трубит серебряную, а уж что это за труба такая — Бог весть.

Поехал Федор Волков в монастырь с Руфином, две недели потел там на пожнях, ярушником монастырским кормился. А через две недели — на Мурманском бежал уж к Святому Носу. Все у борта стоял, свесив стриженую колгушку свою над водой, и сам себе улыбался.

У Святого Носа каштан Индрик набирал народ побойчее — идти в океан. Как увидел Индрика, черную его бархатную шапочку и все лицо в волосах седых, как во мху, — так Федор Волков и вспомнил: никогда не улыбался Индрик, можно ему про все рассказать — не засмеется.

— Африка? Ну как же не быть-то! Есть Африка, и проехать туда очень просто... — нет, не шутил Индрик, глядел на Федора Волкова очень серьезно, и в седом мху волос, как ягода-голубень грустная, были его глаза.

— О? Есть? Ну, слава-те, Господи. Вот слава-те, Господи-то! — так Федор обрадовался, сейчас обхватил бы вот Индрика да трожды бы с ним, как на Пасху, и похристосовался. Но были Индrikовы глаза, как ягода-голубень, без улыбки, без блеска и будто видели насквозь: сробел Федор Волков.

— Денег вот надо порядочно — тыща, а то и все полторы. На пароходе-то доехать до Африки... — глядел Индрик серьезно. — Ты вот что, Федор, иди со мной за гарпунщика.

Вчера Федору Волкову показывали на шкуне самоедина: глазки — щелочки, курносенький, важный. Толковали про самоедина: мастак — гарпунами в китов стрелять, чистая находка.

— Ну, а как же самоедин-то? — заморгал Федор Волков.

— Самоедин — так, запасной будет. А со мной еще отец твой хаживал в гарпунщиках-то, как же тебя не взять?

Гарпунщику — деньги большие идут, дело известное: за каждого кита убитого, ни много — ни мало, шестьсот целковых. Крепился Федор Волков — крепился, да как вдруг с радости загопочет лешим:

— Гы-гы-гы-гы-ы!

Господи, да как же! Два кита — вот те и Африка.

Не было ни ночи, ни дня: стало солнце. В белой мгелени — между ночью и днем, в тихом туманном морозе бежали вперед, на север. Чуть шуршала вода у бортов, чуть колотилась — как сердце — машина в самом нутре шкуны. И только двое, Федор Волков да Индрик, знали, что с каждой минутой ближе далекая Африка.

Не наглядится на Индрика, не наслушается его Федор Волков, без Индрика дыхнуть — не может.

— Ну, какая же она, Африка-то? Ну, чего-нибудь еще расскажи...

Все на свете Индрик видал; должно быть, и то видал, чего живым видеть нельзя. Веселый — а глаза грустные — рассказывал Индрик про Африку.

Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо ворочать, ни палы пускать, ни бить колочь земляную копорюгою: растет себе хлеб на древах, сам по себе, без призору, рви, коли надо. Слоны? А как же: садись на него — повезет, куда хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет, да так играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в страны неведомые. А в тех странах цветы цветут — вот такие вот, в сажень. Раз шохнуть — и не оторвешься: потуда нюхать будешь, покуда не помрешь, вот дух какой...

— Во! Погоди... — обрадовался Федор Волков, — вот и мне был сон... — и осекся: про сон про свой, про девушку ту — не мог даже Индрику рассказать.

Должно быть, недалеко была уж девушка та: все Федору Волкову силась. Да во сне известно, ничего не выходит: только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы потуда, покуда не умрешь — а тут и окажется, что вовсе не девушка та — а дед Демьян. Тот самый дед Демьян, какой в суконной карпетке бутылку рома зятю в подарок вез. Да в пути раздавил и три дня прососал карпетку ромовую. Вот, будго, к карпетке к этой и пришик Федор Волков и сосал: дрянь — а выплюнуть никак не может, беда!

Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шуришит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где — сквозь туман — солнце малиновое. Неведомо куда плывут сквозь туман. И сказывает Индрик сказку — не сказку, был — не был, про Африку — теперь уже близкую.

Однажды утречком дунул полуденник-ветер, распахнулся туман, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого кита, вовсе рядышком. Был он смиренный какой-то и все со шкуной играл: повернется на спинку, белое брюхо покажет — ширь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан.

Как пушку навел, как запал спустил — и сам Федор Волков не помнил: от страха, от радости — под сердце подкатилось, в глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на белом брюхе китовом коношились матросы, полосами кромсали сало.

— Ну, Федор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку с Богом, — говорил весело Индрик, а глаза грустные были, будто видали однажды, чего живым видеть нельзя: правду.

— Эх! — только поматывал Федор стриженной поребьячи колгушкой, только теплились свечкой Богу необходимые его глазки: и верно, какие же тут найдешь слова?

И в межени белой опять плыли, неведомо где, плыли неделю, а может — и две, может — месяц, как угадать, когда времени нет, и непонятно: сон — или явь? Приметили одно: стало солнце приуσταвать, замигали короткие ночи.

А ночью — еще лучше Федору Волкову: и все стоял, и все стоял, свесив голову за борт, и все глядел в глубь зеленую. По ночам возле шкуны неслись стаи медуз: ударится которая в борт — и засветит, и побежит дальше цветком зеленосеребряным. Только бы нагнуться — не тот ли самый? — а она уж потухла, нету: приснилась...

Капитан Индрик — на мостике целый день. Из мха седого — глядят зорко глаза, на сто верст кругом.

— Гляди-и, Федор Волков, гляди-и, не зевай!

Кит. Последний. То впереди фонтан выстанет, то слева, то сзади: петли завязывал кит, кружил. Да Индрик на мостике — зоркий: куда кит — туда и шкуна.

— Гляди-и, Федор Волков, гляди-и...

— «Ох, попаду. Ох, промахнусь...» — стоял на носу Федор у пушки у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах.

Два дня за китом всугонь бежали. Привык бы зверь, подпустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков, у пушки.

На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик зычно:

— Ну-у, Федор, последний! Ну-ну, р-раз, два...

— «Ох, попаду, ох...» — так сердце зашлось, такой чомор нашел, такая темень...

Выстрела и не слышал, а только сквозь темень увидел: натянулся канат гарпунный, пошел, задымился — и все жвытче пошел, пошел, пошел...

Попал. Африка. Прикинуть теперь — и не оторваться, покуда...

Кит вертанул быстро в бок. Чуть засевиши в хвосте гарпун выскочил, канат ослабел, повис.

— Эка, эка! Леший сонный, ворон ему ловить. Промазал, туды-т-т-его... — бежали, сломя голову, на нос, где возле пушки лежал Федор Волков.

Спокойный, глаза — как ягода-голубень грустная, подошел Индрик.

— Ну чего, чего? Не видите, что ли? Берись, да разом. Руку-то подыми у него, рука по земле волочитесь...

Есть Африка. Федор Волков доехал.

С.П.Б. 1916.

ПИСЬМЕННО

Отец Дарья в Дону закупался. Поспорил с пушкарскими, что всех в воде пересидит: и правда, пересидел, да тут же и кончился. Стали жить вдвоем с матерью, а без мужика в доме — что уж за жизнь: одно горе необрядимое.

Терпела-терпела, да и говорит Дарье мать:

— Ну, Дарья, иди за Еремея карноухого замуж. Теперь привереды-то эти нам не к лицу. Отбарствовали, будет...

Еремей — вдовый, из мещан пушкарских. Лицом черный, волосатый, чисто окаяшка. А глянет — так Дарью нуда одернет всю. И одного уха нет: во сне, шутки ради, обрезали. Ну против материнской воли — куда же? Поплакала-поплакала Дарья да и пошла к венцу.

Утром в мужином доме Дарья в первый раз прибрала косы под бабий платок. Косы — русые, длинные, красота, под платок не лезут никак, и руки не слушаются — ночью замучилась. Не стерпела Дарья, пала на лавку, да в голос.

А Еремей за столом сидел, вино пил: от вчерашнего осталось. Как кулаком брякнет об стол:

— С первого дня кричать? Ты по ком кричишь, а? Замолчи! Сейчас чтоб смеялась! Смеись, ну?

А как засмеешься, когда в три ручья слезы?

— Смеись, говорю! Не хочешь? — да закосы Дарью, и потуда таскал, покуда и вправду не стала смеяться смехом смертным, исходным.

Так и пошло бедованье бабье. То была Дарья — развйтная, бойкая, а теперь — в роде мыши: все норовит в

угол забиться, уйти от Еремеевых глаз волчиных, от рук железных.

Только и отдыху Дарье, когда Еремей уедет по своим делам. Уедет — обязательно Дарью на ключ замкнет. Ну, да это уж пусть: зато отоспится, и поплачет всласть, и девичью песню вспомнит, — протянет тихонько.

И день, и два, Еремей негу.

— Эх, если бы, окаянный, застрял где-нибудь... Заколодило бы его, прихлопнуло бы. Бугуродица Дева, Мать Пресвятая, угомони ты его, расшиби окаянного...

А он — легок на помине — сейчас в дверь и стукнет. Избитый, в синяках весь — еще страшнее.

— Ты чтож, мне не рада? Опять — мокроглазая? Ну, погоди-и, дай тулун сыму... — и пошло писать...

Ярмарками — у Еремее дела самые главные. Цыгане какие-то, маклаки с красными платками шейными. Шушуют, шепчутся, по рукам бьют. А к ночи — как помелом вымело: и гости все, и хозяин сам со двора.

Утром Дарья с ведрами выйдет — глядь, в закуте лошадь привязана. Батюшки мои, да когда ж это? Откуда?

А Еремей уж тут:

— Ну, чего, как баран на цовые ворота? Вчера купил...

Через два, через три дня приезжал из Моршанска старовер Кашигон Иваныч. Тряс бородою козлиной, торговался, хлопал лисьим картузом о стол. Ночью уводил Еремееву новокупку.

Недолго Благовещенья посчастливилось Еремею карноухому: ночью привел целую тройку лошадей, да каких еще. Прикатил старовер, сбежались маклаки в красных шейных платках. И уж сколько тут на радостях пино было — того и не счесть.

Шум, гвалт, от «собачьих пожек» — дым зеленый. Один Еремей пил молча, будто только самого себя слушал. И все гуще срастались у него брови, все темнел, все чужнее.

Старовер козлобородый с вина ярился, насакивал на всех:

— Табашники! Накурили дьяволу-то! Ваша троица — в табаке роется! Щепотники! Зверю десяторожному служите...

Но старовера не слушали: рыжий маклак божился, что был у него в прошлом году подсед, — все рыжего совестили.

— Подсе-ед! Эх, ты, естество комариное: бабка-то у тебя есть, копыто есть?

А старовер уж сапоги снимал, кафтан скидывал:

— Мошкара, мещанишки! Да я вас со всем барахлом и с женками покуюлю... Дашка, сюды! Подь сюды, говорю... — за подол поймал Дарью, облапил.

А у Дарьи ноги, — как из охлюньев, подгибаются, и ни крикнуть, ни охнуть, и кого-то сейчас Еремей...

Чугунный, от тяжести очень медленный, встал Еремей, снял со стенки безмен.

— Хек! — по башке старовера. — Хек-Хек! — хекал, как дровосек добрый, рубил разом — за ухо карноухое, за всю свою жизнь...

Одна в избе. Старовера сволокли на кладбище, Еремей — в остроге. Керосни в лампе жгла всю ночь, с головой укрывалась Дарья: жуть одолела, тоска.

А раз утром окно раскрыла: черемуха расцвела, в ризке белой — белица, из монастыря вырвалась, радарадешенька белому. И на черемухе воробьи верещат.

Как проснулась Дарья: одна-одинешенька, зьяная...

— Слава Тебе, Владычица, прибрала окаяшку карноухого...

Да платок бабий — долой, да косы — наружу.

— А вот не хочу за водой итти: в лес пойду... — и в лес залилась.

— Ты бы, Дарья, в остроге-то его проведала, — Дарью корила мать.

А Дарья только фыркала:

— Вот-ще, дуже мне нужно! Еще шкрыкнет чем, душегуб...

Осенью Еремея судили. Присяжные — мужики да мещане, народ твердый. Припомнили Еремею и конокрадство, и все: закатили на каторгу.

Тут уж у Дарьи — вся тягота с плеч долой. То все еще боялась: ну-ко-сь, из острога сбежит, ну-ко-сь, отпустят его. А теперь — дело верное. Выкинула из головы Еремея, как сор из избы.

Жизнь травяная, медленная. Думаешь — лет пять обернулось, а всего только год прошел. И уж все быльем поросло, уж видывали задонского Савоську у Дарьи в палисаднике, уж разговаривали...

И на самое на Благовещенье, когда полетели из клеток щеглы, случилось неожиданное: почтальон принес Дарье письмо.

Неграмотна Дарья, отродясь писем не получала. Дождалась Савоську, Савоська ей и прочел.

«Кланяюсь вам, милая супруга Дарья Никитишна, от лица земли и до ног ваших. А еще прошу письменно прощенья за вашу жизнь, сапоги мои разваливши и работаем босиком, подземю. И погиб я, через что вы меня не призрели сердцем, и бесперечь письменно плачу, и вас вспоминаю...», — а конца и не слышала Дарья: так ее пронзило письмо.

Савоська егозил, вертелся, смешки подпускал.

— Да уйди ты, ради Христа. Мне обдуматься надо.

Думала всю ночь, и неделю думала, и никак обдумать не могла.

...Сапоги разваливши... и бесперечь письменно плачу...

— Дура ты, дура: ну, какого рожна тебе надо? Унесла Владычица изверга, ну чего ты еще?

Опять черемуха под окном расцвела, воробьи верещат — а не легче все. Ноет сердце и поет, проснется Дарья — вся подушка в слезах...

Уговорилась Дарья с Савоськой: в воскресенье, на гулений день, на прожитые переехать к Савоське.

— «Малый молодой, веселый. Переехать — и вся дурь из головы вон».

На гулный день в тарантасе — было бы куда Дарьины манатки забрать — подкатил Савоська. Уж у Дарьи уложено все.

— Ну, Савося, сейчас. Ты мне только письмо напиши.

Села Дарья на лавку. В окно поглядела — на край света. Пригорюнилась.

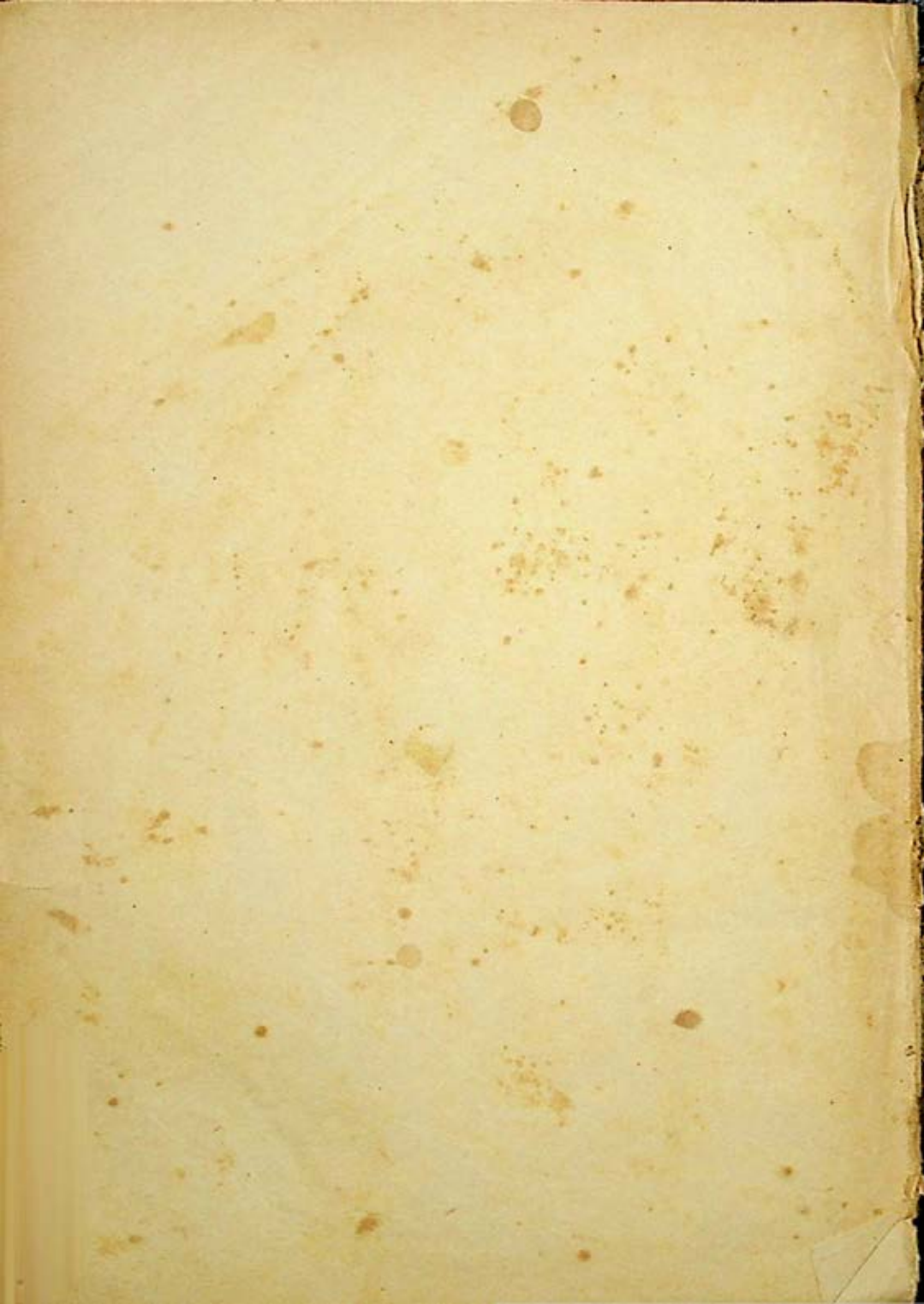
— Ну, пиши. «Любезный наш дружечка, Еремей Василыч. На кого же вы нас покинули и как жить без вас будем. А еще кланяюсь вам с любовью от лица земли и до неба, сапоги купила вчера, и хотя бы велел приехать к тебе, об том все почи не сплю. А еще кланялась вам...»

Послушно Савоська все, как Дарья велела, до конца написал.

— Ну, Савося, спасибо. А я поехать к тебе — не поеду. Отдумала. Вот что.

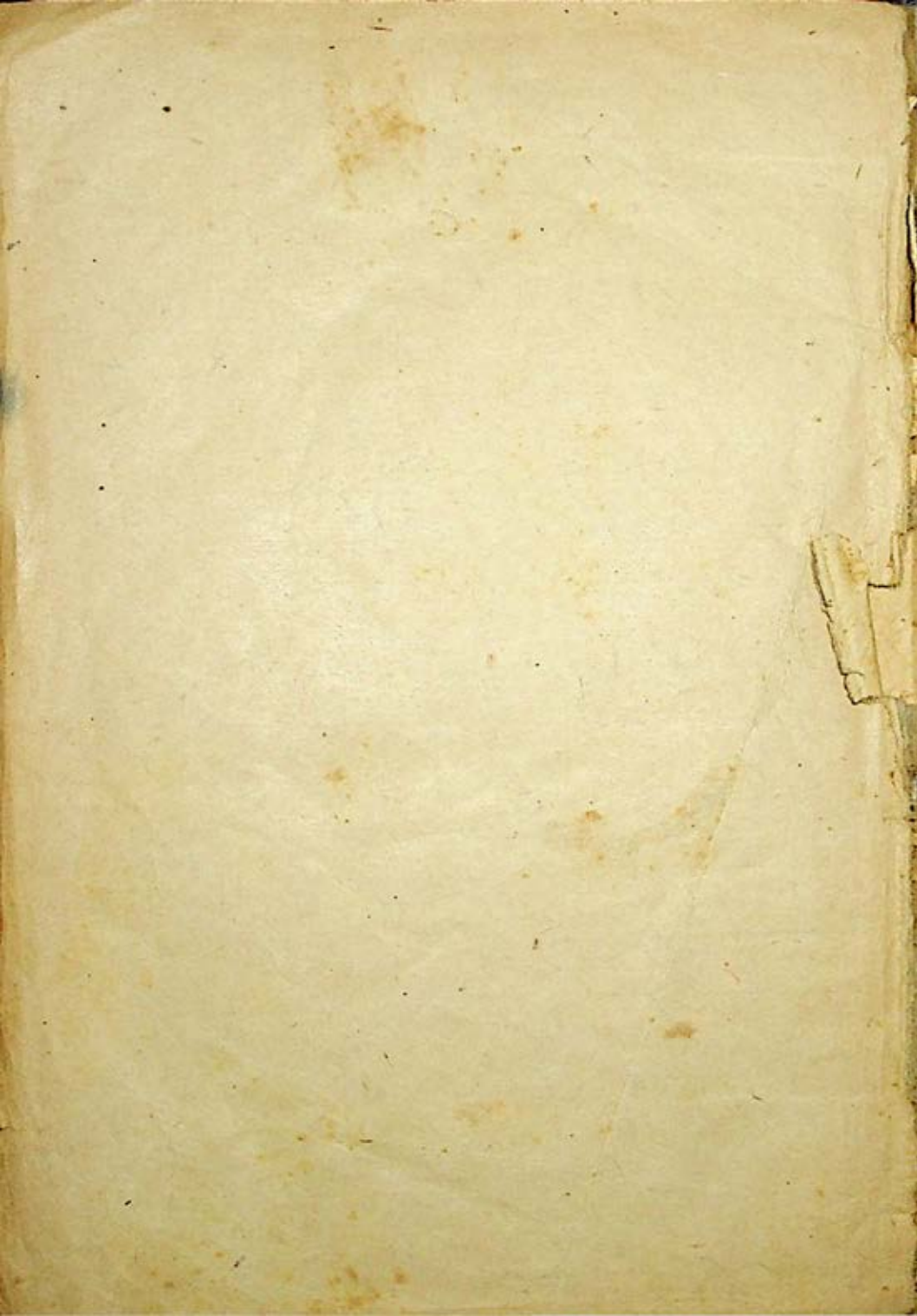
С. П. Б. 1916.





О Г Л А В Л Е Н И Е

| | |
|-------------------------------|-----|
| На куличках | 5 |
| Знамение | 91 |
| Детская | 103 |
| Сподручница грешных | 114 |
| * * * | 123 |
| Африка | 125 |
| Письменно | 137 |



X

БРК 13

